Борис Васильев

Не стреляйте белых лебедей

Борис Васильев

Не стреляйте белых лебедей

Борис Васильев

Не стреляйте белых лебедей

Роман

Рисунки А.Слепкова

Москва
„Детская
Литература"
1981

Scan by Tom Platz

Р2
В19

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге
просим присылать
по адресу: 125047, Москва,
ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Васильев Б. Л.

В 20 Не стреляйте белых лебедей: Роман/Рис. А. Слепкова. — М.: Дет. лит., 1981.—239 с., ил.

В пер.: 1 р.

Герои романа — плотник Егор Полушкин и его сын Колька — живут в маленьком северном поселке. Влюбленные в природу, во все живое, они с болью видят, как безжалостно уничтожаются вокруг природные богатства. Егор становится лесником и в борьбе за народное добро открыто и смело вступает в острые конфликты с людьми жадными, грубыми и жестокими, с браконьерами. В романе решаются острые нравственные проблемы, звучит страстное писательское слово в защиту окружающей среды.

Р2

70803—027
В———————230—80
М101(03)81

©Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

От автора

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье — неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине — задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении — терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным — разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь — жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.

1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, исступленно кричала въедливым, как комарный звон, голосом:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов...

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседушки сократили до первых двух слогов:

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней — Тина и губки гузкой, а без нее — Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть.

— Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не заходила: хозяйство хворобное, муж в дурачках и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить — примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица — Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных — пять штук, костюмов суконных — два да костюмов джерсовых — три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчанный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека — Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка — дом собственный, пятистенный. Из клейменых бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит — что новое ведро. Во дворе — два кабанчика, овец шесть штук

да корова Зорька. Удоистая корова — в дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командировочных водили:

— Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе, одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со смаком, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе, обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлых остатков некогда звонкого красно-лесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

— Хана прогрессивкам, Марья, — валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел — любо-дорого. Одно слово — голова. Хозяин.

И держал себя в соответствии: не шебаршился. И рублю и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

— Нет, не обратал ты жизнь, Егор, она тебя обратала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба — все верно. Федор Ипатыч говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатыч еще рюмочку нальет, сдобрится? . .

— Да, жизнь обратать — хозяином стать, так-то старики баивали.

— Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

— Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но — бессмысленно.

— Да уж. Это точно.

— Руководить тобою надо, Егор.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо! . .

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя — осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленые или бобыли какие, у которых ни кола, ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом — метельным,ознобистым — теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

— Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

— То исть как? — не понял Егор.

— Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

— Каждый день — и новое? — поразилась Тина.

— А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И матерь божья уже не улыбалась, а хмурилась, да

кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот... как его... в модерн.

— Да, ставит Федор Ипатыч дом — картинка. А старый освобождается, так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособите, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать навострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

— Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеши. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом правда отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

— Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

— Ну и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой: дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый.

Помирились. В гости захаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

— Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

— Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

— А разве есть в тебе мущинство настоящее? Ну скажи, есть?

— Дык ведь как... Вот баба моя...

— Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то — да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим — сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому особо: хозяин.

— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

2

Но зато был Колька.

— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

— Ну и глупо, что так, — ворчала Харитина (она всегда на него ворчала: как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). — Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.

— Ну что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

— Ну-у?..

Простодушия в этом «Ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был.

— Колька, ты чего тут сидишь! Тятьку твоего самосвалом переехало, кишки изо рта торчат!

— А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

— Да куда ты, куда? Живой он, тятька твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятька его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятьки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

— Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась),

до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже докторша удивилась:

— Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда сестренка родилась, горластая больно народилась-то — вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

— Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо, губы прыгали.

— Уикас...

— Чего?

— Уикаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?

— Какого Уи... Уикасу?

— Последнего из могикан. Самого последнего, тятька!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

— Уикас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться...

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубахе и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучи-

ны. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

— Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

— Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка — погодок, двоюродный братишка — только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости — от обиды. Сильно ревел, до трясучки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

— А он ему — хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

— Больно, поди! — вздыхал Колька.

— Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки — одна на все дни:

— Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

— Чего ж только по рублику?

— А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику — это ого! Знаешь, сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

— Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

— Бесплатно?

— Так по улице же.

— Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

— Ты, Вовка, скрозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть сквозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал — уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказывал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятька сказал — значит, так оно и есть.

А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

— Умная животная.

— Тять, а в Индии пашут на них?

— Нет. — Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. — Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.

— А чего ж они там делают?

— Ну как чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.

— Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.

— Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.

— А в Индии как же?

— Дык у них с кормами порядок. Лето сплошное: траву хоть двадцать раз коси.

— И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!

— Ну, не скажи. У нас получше будет. У нас — Россия. Самая страна замечательная.

— Самая-самая?

— Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

— Значит, мы счастливые, тять?

— Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более, что сам Егор истово в это верил. Ну, а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

— Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну скажи.

— Синяя.

— «Синяя»! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей

стирки на подтирку. А у меня — заграница. Простирнул, встряхнул — и гладить не надо, и как новая!

— А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

— Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

— А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сымаешь, искры сыпятся?

— Ну?

— Вот. Потому — чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому — своя, к телу льнет, ластится.

— Бедоносец ты, Егор. Пра слово, бедоносец! Природа обидела.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак...

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших не смел: при старших спорить — отца позорить. Наедине возмущался:

— Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

— Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

— С мяса они маются! — сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал. Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки — все от одно-

го корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

— Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взашей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя: мастер сам себе голова, это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышке, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе — спокойно, вглядчиво, на три цигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедень, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за ради дома да удобства родственника — за ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бегает — не он за работой. Тем более, что весь поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца...

— Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?

— Дык ведь это... Доска с доской не сходится.

— Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, премиальные...

— Дык ведь для людей жа...

— Слазь с лесов! Давай на новый объект!

— Дык ведь щели.

— Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдясь оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира и снова куда-то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

— Не могу я там, Тинушка, ты уж не серчай. Не дело у них — понарошка какая-то.

— Ах горе ты мое бедоносец юродивый!..

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да брига-

дам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился: в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходилось. В мае — только земля вздохнула — определили его траншею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, колышков натыкал, чтоб линия была, по лопате глубину отметил:

— Вот до сих пор, Полушкин. И чтоб по ниточке.

— Ну, понимаем.

— Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.

— Ну, дык...

— Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб...

— Нет тут вашего беспокойства.

— Ну, добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с какими работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробьи озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле поспевала.

— Молоток ты, Полушкин! — бодро сказал прораб, заглянувший через три часа ради успокоения. — Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и наддал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему

человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

— Три смены рванул! — удивился прораб, шагая вдоль канавы. — В передовики выходишь, товарищ Полушкин, с чем я тебя и...

И замолчал, потому что ровная, в нитку, траншея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая, как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

— Это что?

— Мураши, — пояснил Егор.

— Какие мураши?

— Такие... это... Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

— Дом, значит?

— Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал...

— Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

— Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю...

— А где я тебе кривые трубы возьму, об этом ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил?.. Ах ты, растудыт твою...

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и проходу Егору не стало.

Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал, вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

— Вы Егор Савельич будете?

Не часто Егора отчеством величали, ох, не часто! А тут пигалица, девчоночка, а — уважительно.

— Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

— Как так получается?

— Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

— Неуважительно.

— Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

— Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать цигарку.

— Учителка твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

— Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазищи, сухие.

— А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

— Ай-ай! Что же так-то?

— А смеется.

— Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться — пусть себе.

— Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

— Гнул, — сознался Егор. — А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

— Ну, а что, кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили, только зря ославился.

— Не то, сынок, что ославился, а то, что... — Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. — Чем, думаешь, работа держится?

— Головой!

— И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное — сердцем. По сердцу она — человек горы свернет. А уж коли так-то, за-ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти, не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды про-

щал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

— Ну что мне с тобой, Полушкин, делать? — вздыхал начальник. — И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не держишься... Куда тебя теперь...

— Воля ваша, — сказал Егор. — Какое будет распоряжение.

— Распоряжение!.. — Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. — Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

— Можно, — сказал Егор. — И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки́ затопила, углом к лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закудрявились, ельником да сосенником защетинились. И уж не только свои, поселковые, — из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от землицы камнем. А камень, он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угасить. Это тебе не дерево, теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шарахаясь от камней да

бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает беззащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем, ни ночью, и только во сне видит оно росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.

Но чистой природой горожанина тоже не ухватишь. Во-первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, а потом либо транзистор запустит на всю катушку, либо, не дай бог, за пол-литрой потянется. А где пол-литра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие-нито. И две выгоды: безобразий поменьше да деньга из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копеечку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший: и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале, да как-то оплошал: под матерую сосну угодил в полной натуре. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

— Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота — это, перво-наперво, ремонт. Чтоб был порядок:

банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтобы в лодках не более кружки.

— Сухо будет, — заверил Егор. — Ясно-понятно нам.

— Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристанито, так сделам.

— Есть с пристани запрещаю, — устало сказал Яков Прокопыч. — Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто — затаскают.

— А если свое привезут?

— Свое нас не касается: они люди вольные. Однако если два своих-то, придется отказать.

— Ага!

— Но — обходительно. — Яков Прокопыч важно поднял палец: — Обходительность — вот третья твоя забота. Турист — народ нервный, больной, можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

— Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.

— Лодки, когда напрокат, это я отпускать буду. Но ежели перевезти на ту сторону подрядят, тогда тебе идти. Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и отчалишь, только когда спасибо скажут.

— До спасиба, значит, ждать?

— Ну, это я к примеру, Полушкин, к примеру. Скажут: свободен, мол, — значит, отчаливай.

— Ясно-понятно.

— Главное тут — помочь людям. Ну, может, костер им сообразить или еще что. Услужить, словом.

— Ну, дык...

Яков Прокопыч посмотрел на Егора, прикинул, потом спросил:

— На моторе ходил когда?

— Ходил! — Егор очень обрадовался вопросу, потому что это выходило за рамки его плотницких навыков. Это было нечто сверх нормы, сверх обычного, и этим он гордился. — Ну, дык, ходил, Яков Прокопыч! Озера у нас в деревне неоглядные! Бывало, пошлет председатель...

— Какие знаешь?

— Ну... это... «Ветерок», значит, знаю. И «Стрелу».

— У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую ответственность. И только для перевозок в дальние концы: в ближние и на веслах достигнешь.

— На моторе хожено-езжено! Это не беспокойтесь! Это мы понимаем!

Но в моторах нужды пока не было, потому что дальний турист ныне что-то запаздывал. А ближних туристов да местную молодежь интересовали только лодки напрокат, для прогулки. Этими делами занимался сам Яков Прокопыч, а Егор с увлечением конопатил, чинил и красил обветшавший за зиму инвентарь. И уставал с удовольствием, и спал крепко, и улыбаться начал не так: не поспешно, не второпях, а с устатку...

4

Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительниц. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали — ну, про зверей или про историю с географией, — рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случалось — враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее шариков из промокашки, прицелишься, дунешь — точно Кольке в рот разинутый. Вот уж веселья-то!

Сколько раз Колька на это попадался — и счет потерял. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе, а как начнет учительница про древних героев рассказывать или стихи читать, забывался. Забывался, ловил каждое слово и рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился:

— Снайпер я. Я в кого хочешь камнем в сто шагов попасть могу!

Оля Кузина на него широкими глазами смотрела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а Кольке все не до того было.

— Слыхал, что́ Нонна Юрьевна про богатыря Илью Муромца рассказывала? Сиднем, говорит, тридцать три года сидел, а как пришли калики перехожие...

— ...так ты и рот разинул! А я в него — жеванкой!

— С чернилами жеванка-то! — восторгалась Оля Кузина.

— Ты разиня, а я снайпер! Правда, Олька?

Очень важничал Вовка. А два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив:

— Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти обещался.

Федора Ипатовича провожали по-родственному: со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дела удачливого. Федор Ипатович брови супонил, задумывался:

— С чего бы это приспичило им?

— А для совета, — подсказывала Харитина. — Для совета, Федор Ипатыч, для совещания с вами.

— Совещания? — Вздыхал хозяин почему-то: — Мда...

— Путь вам тележный, ямщик прилежный, кобылка поигривистей да песня позаливистей, Федор Ипатыч!

Чокался хозяин, благодарил. Но не пил, в сторону стакан отставлял, хмурился:

— И с чего бы это им вызывать меня, а?

Отбыл чин чином: и сыт, и хмелен, и ус в табаке. Неделю отсутствовал и вернулся без предупреждения: ни письмеца, ни телеграммы вперед не выслал. Марьица всполошилась:

— Ахти мне, гостей за пустой стол сажать!

— Погоди, Марья. Не надо гостей.

— Как же не надо, Федя? Обычай ведь. Не нами заведено.

Крякнул Федор Ипатович:

— Ну, зови. Черт их с обычаями...

Гостей Федор Ипатович любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже: кого

ни попадя за стол не сажал. Из райисполкома инструктор наведывался (рыбалку любил пуще молодой жены!), из поссовета кое-кто заглядывал. Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: на земле живем, не на небе. И (а куда его денешь?) — свояк. Егор Полушкин с Харей своей разлюбезной.

— Будь здоров, Федор Ипатыч, с прибытием! Как ездилось-путешествовалось по областной нашей столице? Что на рынке слышно насчет вздорожания, что в кругах говорят насчет космоса?

Федор Ипатович с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал:

— Не обессудьте, примите в подарочек. Не на пользу — так, для памяти.

Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Харитиной перепадало: а что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил:

— Держи, племяш. Чтоб не блудить.

Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка: компас ведь! Настоящий: со стрелкой, с югом-севером.

«Эй, там, на руле! Четыре румба к весту! Так держать!»

«Есть так держать!»

Вот о чем компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу — как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавее? Не знаете? А Колька знает, так что для леса компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо позарез нужен.

«Эй, на марсе! Не видно ли земли обетованной?»

«Не видно, капитан! Одно море бурное кругом!»

«Так держать! Будет земля впереди!»

Это он, конечно, про себя выкрикивал: зачем зря людей пугать? Не поймут, расстроятся.

А Вовка складную удочку получил, трехколенку. Хвастался:

— Навалом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?

— Понавесистей! — кричали. — С подкожным жирком!

Улыбался Федор Ипатович. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал:

— Лесничий новый вызывал. Столичная штучка-дрючка. Почему, говорит, лес неустроенный? Где, говорит, акты на порубку? Где, говорит, профилактика против вредителей? А сам в карту глядит: в лесу нашем еще и не бывал. А уж грозится.

— Ай-ай! — вздыхал Егор; это ему Федор Ипатович жаловался, потому что некому больше жаловаться было, а хотелось. — У меня, знаешь, тоже... это... неприятности.

Но неприятности Егора мало волновали Федора Ипатовича: своих забот хватало.

— Да-а. Ну ничего, обомнется. Жизнь, она и не с таких пух да перо берет, верно? Обомнется, мне же поклонится. Без меня тут никакому лесничему не усидеть, я все ходы-выходы да переходы знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет да как потом выглядит.

— Да, выглядит, это точно. Кто как выглядит, это правильно, — бормотал Егор.

Он выкушал два лафитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять

тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань.

— Я, значит, чтоб понятней было, какая где. Чтоб не искать и чтоб красиво.

— Счетов на проданный лес не поступало? — гнул свое хозяин. — Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. А считаться начнем, не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. Не-ет, недолго...

— А он говорит: в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое — это что тогда получится? Это получится полное равнодушие...

— Равнодушие? — Федор Ипатович поморгал красными глазками (перехватил маленько с огорчения-то). — Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Ну, я ему это равнодушие покажу! Я ему припомню равнодушие-то, я...

— Во-во, — закивал Егор. — Красота — это разве когда все одинаковое? Красота — это когда разное все! Один, скажем, синий, а другой, обратно же, розовый. А без красоты как же можно? Без красоты как без праздника. Красота — это...

— Ты чего мелешь-то, бедоносец чертов? Какая красота? Деньги он с меня за дом требует, деньги, понятно тебе? А ты — красота! Тьфу!..

Заюлил Егор, захихикал: чего зря хозяина гневить? Но — расстроился. Сильно расстроился, потому что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться да еще после двух лафитничков — шапетиков во сне увидишь. Натуральных — с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон: душить будут шапетики, так старые люди

говорят. А они знают, что к чему. Они, поди, лафитничков-то этих за свою жизнь напринимались — с озеро Онегу. И с радости и с огорчения.

И опять ворочался Егор в постели, опять вздыхал, опять казнился. Ох, непутевый он мужичонка, ох, бедоносец, божий недогляд!

Старался Егор на этой работе — и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинет:

— Ты, Полушкин...

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

И — бежал. Угадал — хорошо, не угадал — обратно бежал: за разъяснениями. Но старание было, как у невесты перед будущей свекровью.

— Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин. И засмолил хорошо, хвалю... Стой, куда ты?

— Я... это...

— Дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность. В голубой цвет. А весла — лопасти только, понял? — в красный: чтоб издаля видно было, ежели кто упустит. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер — черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуешь один номер — зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуешь — другой зачеркни. Понял, Полушкин?

— Понял, Яков Прокопыч. Как тут не понять?

Схватил банки — только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани да обратно. А на работе босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит скорее, и сапоги зря не снашиваются.

Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов: пока работалось, не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки понавесит, оглядит все, домой соберется, а Егор вовсю еще старается.

— Закругляйся, Полушкин.

— Счас я, счас, Яков Прокопыч.

— Пятый час время-то. Пора.

— А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе. За краску и кисточки не беспокойтесь: я их домой отнесу.

— Ну, как знаешь, Полушкин.

— До свидания, Яков Прокопыч! Счастливого пути и семейству поклон.

Даже не поворачивался, чтоб время зря не терять. В два слоя краску накладывал, сопел, язык высовывал: от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался: красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту; недоборщишь — в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал: и малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо, от купели, что называется. И так он его пробовал и этак — и вышло, как хотел. Горели лопасти-то у весел, далеко их было видать.

А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два (№ 7 и № 9 — по записочке), так и рука у него провисла. Скучно — черное на голубом. Номер — он ведь номер и есть, и ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной сини арифметика — это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет: для отдыха, для удовольствия. А ему —

номер девять: черным по голубому. Как на доме: сразу про тещу вспомнишь. И от праздничка в душе — пар один.

И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой — незнакомой, волнующей — вроде затрясло его даже, и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.

Конечно, посоветоваться сперва следовало; это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покурив и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные номера «7» и «9». А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша.

В тот раз он до глубокой ночи работал: благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утоп ли часом, муженек-то? Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.

— Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блукал ночкой темною изверг рода ты непотребного...

— Работал, Тина, — спокойно и важно сказал Егор. — Не шуми: полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.

Чуть заря занялась — на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбовался на

труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего.

— Вот! — сказал вместо «здравствуйте». — Глядите, что удумал.

Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха, аж скулы ломило.

— Так, — уронил наконец Яков Прокопыч. — Это как понимать надо?

— Оживление, — пояснил Егор. — Номер — он что такое? Арифметика он голая. Черное на голубом: издалека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут — картинка на носу: гусенок. Человек сразу гусенка углядит.

Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка — вислые уши и лапа; у георгина — упругость стебля, согнутого тяжелым цветком; у гусенка — веселый разинутый клюв.

— Вот и радостно всем станет, — живо продолжал Егор. — Я — на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.

— Соревнование? — переспросил озадаченный Яков Прокопыч. — Гусенка с поросенком? Так. Дело. Ну, а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело, милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик сперли? Что?!

— Дык это...

— Дык это закрасить к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг культуры: его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу?.. Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю: абстракт. Абстракт они скажут, Полушкин.

— Чего скажут?

— Не доводи меня до крайности, Полушкин, — очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. — Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам сейчас веслом по башке...

Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А упрямые гусятки-поросятки вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке.

— Опасный ты человек, Полушкин, — со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано.

Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами.

— Предупреждали меня, — продолжал заведующий. — Все прорабы предупреждали. Говорили: шебутной ты мужик, с фантазиями. Однако не верил.

Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал.

Чувствовал, что должен бы попросить — для спокойствия дальнейшей жизни, — что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом — согласен.

— Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то — делай то-то. А то, если все начнут фантазировать... Знаешь, что будет?

— Что? — спросил Егор.

Яков Прокопыч дожевал хлебушко, допил чай. Сказал значительно:

— Про то даже думать нельзя, что тогда будет.

— А космос? — спросил вдруг Егор (и с чего это понесло его?). — Про него сперва фантазии были: я по радио слыхал. А теперь...

— А мат ты слыхал?

— Приходилось, — вздохнул Егор.

— А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть — цензурная. Так? Вот и фантазии тоже: есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя — нецензурная.

— Это поросенок-то с гусенком нецензурные? — усомнился Егор.

— Я же в общем смысле, Полушкин. В большом масштабе.

— В большом масштабе они гусем да свиньей будут.

— А гусь свинье не товарищ!.. — затрясся вдруг Яков Прокопыч. — И марш с глаз моих, покуда я тебя лично нецензурной фантазией не покрыл!..

Вот аккурат после этого разговора Федор Ипатович-то и прибыл, и встречали его тогда всем миром

с возвращеньицем. Вот почему и завздыхал-то Егор всего с двух лафитничков, заскучал, заопасался.

Но опасаться, как вскорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричался, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая голыми пятками.

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на ильин день. Но про беду собственную человеку вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. И потом только вздыхать остается да в затылке почесывать:

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!..

5

Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом.

Вообще-то Егор пил мало: и денег сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог, — на это ума хватало, — но не предлагали, правда, чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатович угощал. По случаю.

Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро, и Харитина от него тоже не отставала: с полрюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уж и на песню ее потягивало. Песен-то она знала великое множество,

но с водочки, бывало, только припевки пела. И не припевки даже, а припевку. Одну-единственную, но печальную:

Ох, тягры-тягры-тягры.
Ох, тягры да вытягры!
Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул...

Так, стало быть, хмель ее направлял — в печальную сторону. Хмель, он ведь кому куда кидается: кому — в голос, кому — в кулак, кому — в сердце, кому — в голову, а Егору — в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково: он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил. Даже в трезвом состоянии.

В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабеночки. Издалека, видать, пожаловали: мешков у них было навалом. И сами не по-местному выглядели: мужики сплошь — без кепок и в штанах с заклепками, а бабенки их наоборот: в белых кепках и в таких же штанах, только в облипочку. В такую облипочку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и косится: было, значит, на что коситься.

— Доброго здравия, гости дорогие! — Яков Прокопыч пел — не говорил. И кепку снял уважительно. — Откуда это будете, любопытно узнать?

— Отсюда не видно, — ответили. — На ту сторону перевезете?

— На ту сторону можно. — Яков Прокопыч и кеп-

ку надел, и улыбку спрятал. — Перевезем согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца.

— А почему же в оба?

— Лодка вас, куда потребуется, доставит, а обратно порожняком пойдет.

— Справедливо, — сказал второй и за кошельком полез.

Егор этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабенок соответственно: рыжая и пегая. Они в дело не встревали, разговоры сивый с плешивым вели. А лысый окрестностями любовался.

— Как, — спросил, — рыбка ловится у вас?

Бабенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бабенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но, когда рыжая из мешка бинокль (настоящий бинокль-то!) вытащила, его вмиг подтянуло. Точно лебедкой.

— Ах, какой мальчуган славный! — сказала пегая. — Тебя как зовут, мальчик?

— Колькой, — охрип вдруг Колька: басом представился.

— А грибы у вас растут, Коля?

— Рано еще грибам, — прохрипел Колька. — Сыроеги прут кой-где, а маслятам слой не вышел.

— Что не вышло маслятам? — Рыжая даже бинокль опустила.

— Слой им не вышел, — пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили. — Грибы слоями идут: сперва маслятки, потом — серяки,

за ними — красноголовик с боровиком пойдут. Ну, а следом настоящему грибу слой: груздям и волнухам.

— Слой — это когда много их, да?

— Много. Тогда и берут. А так — баловство одно.

И еще шаг к биноклю сделал: почти что животом в него уперся. И глядеть никуда не мог: только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые!

— Хочешь посмотреть?

Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжая бинокль все-таки протянула:

— Только не урони.

— Не-а.

Пока тятька мотор получал да наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть — большое все видится. А если в большие окошечки, то все, наоборот, маленькое. Непонятно совершенно: должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так. Не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля: он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов.

— Зачем же ты его вертишь? — спросила рыжая. — Смотреть надо в окуляры, вот сюда.

— Я знаю, — тихо сказал Колька.

— А для чего же вертишь?

— Так, — застеснялся Колька. — Интересно.

— Сынок! — позвал Егор. — Подсоби-ка мне тут, сынок.

Сунул Колька бинокль в руки рыжей, хотел «спасибо» сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез,

и пришлось убежать без благодарности. А пегая сказала:

— Туземец.

— Оставь, — лениво отмахнулась рыжая. — Обычный, плохо воспитанный ребенок.

Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор нацелил «Ветерок» на корму «девятки» (бывший утенок — пузатенький, важный, Егор про это помнил), установил бачок с горючим. Колька весла приволок, уключины, черпачок — все, что положено.

— Все ладно-хорошо, Яков Прокопыч, — доложил Егор.

— Опробуй сперва, — сказал заведующий и пояснил туристам: — Первая моторная навигация, можно сказать. Чтоб ошибок не было.

— Нельзя ли поживее провернуть весь этот ритуал? — ворчливо поинтересовался лысый.

— Так положено, граждане туристы: техника безопасности. Давай, Полушкин, отгребайся.

Про технику безопасности Яков Прокопыч с ходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою безопасность беспокоился.

— Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь.

— Ясно-понятно нам.

Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, посовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколько кругов и без стука причалил. Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить. И — заулыбался:

— В тютельку, Яков Прокопыч!

— Умеешь, — сказал заведующий. — Разрешаю грузиться.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька — он на носу устроился — от пристани оттолкнулся. Егор опять завел «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор — за моторным грохотом, а Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной дальние берега. И Кольке было уже не до туристов: впередсмотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль!

А туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощенный ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считанные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

— К обрывчику! — распорядился сивый. — Произведем небольшую разведочку.

Разведочку производили в трех местах, пока наконец и рыжая и пегая не согласовали свои пожелания. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была веселая полянка, прикрытая разрос-

шимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушняка.

— Прекрасное место! — щебетала пегая.—Божественный воздух!

— С рыбалкой тут, по-моему, прокол, — сказал сивый. — Эй, малец, как тут насчет рыбки?

— Ерши, — сказал Колька, задыхаясь (он аккурат дул четвертый матрас).

— Ерши — в уху хороши. А путная рыба есть?

— Не-а.

Рыба, может, и была, но Колька по малости лет и отсутствию снасти специализировался в основном на ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процессом надувания и беседу вести не решался.

— Сам-то ловишь? — поинтересовался лысый.

— Не-а.

Колька отвечал односложно, потому что для ответа приходилось отрываться от дутья, и воздух немедленно утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дырку пальцами, но резина в этом месте была толстой, и сил у Кольки не хватало.

— А батька-то твой ловит?

— Не-а.

— Чего же так?

— Не-а.

— Содержательный разговор, — вздохнула пегая. — Я же сказала: типичный туземец.

— Молодец, Коля, — похвалила вдруг рыжая. — Ты очень хорошо надуваешь матрасы. Не устал?

— Не-а.

Колька не очень понял, почему он «типичный туземец», но подозревал обидное. Однако не расстраивался: и некогда было, и рыжая тетенька уж очень вовремя похвалила его. А за похвалу Колька готов был не пять — пятьдесят пять матрасов надуть без отдыха.

Но уже к пятому матрасу Колька настолько от стараний уморился, что в голове гудело, как в пустом чугунке. Он сопел, краснел, задыхался, но дутья этого не прекращал: дело следовало закончить, да и не каждый день матрасы-то надувать приходится. Это ведь тоже ценить надо: матрас-то — для путешествий. И от всего этого он очень пыхтел и уже не слышал, о чем говорят эти туристы. А когда осилил последний, заткнул дырочку пробкой и маленько отдышался, тятька его из ельника выломился. Ель сухую на дрова приволок и сказал:

— Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком: беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда.

— А большой муравейник-то? — спросил сивый.

— А с погреб, — сказал Егор. — Крепкое семейство, хозяйственное.

— Как интересно! — сказала рыжая. — Покажите, пожалуйста, где он.

— Это можно, — сказал Егор.

Все пошли муравейник смотреть, и Колька тоже: на ходу отдышаться куда как легче. Только за первые елочки заглянули — гора. Что там погреб — с добрую баньку. Метра два с гаком.

— Небоскреб! — сказал плешивый. — Чудо природы.

Муравьев кругом бегало — не счесть. Крупные муравьи: черноголовики. Такой тяпнет — сразу подскочишь, и Колька (босиком ведь) на всякий случай подальше держался.

— Вот какое беспокойство вам будет, — сказал Егор. — А там, подальше чуть, еще поляночка имеется, я наглядел. Давайте пособлю с пожитками-то: и вам покойно, и им привычно.

— Для ревматизма они полезные, муравьи-то, — задумчиво сказал плешивый. — Вот если у кого ревматизм...

— Ой! — взвилась пегая. — Кусаются, проклятые!..

— Дух чуют, — сказал Егор. — Они мужики самостоятельные.

— Да, — вздохнул лысый, — неприятное соседство. Обидно.

— Чепуха! — Сивый махнул рукой: — Покорим! Тебя как звать-то? Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?

Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принес: банка нашлась. Принес, подал сивому:

— Вот.

— Молоток мужик, — сказал сивый. — Учтем твою сообразительность. А ну-ка отойдите подальше.

И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой — ракетой взвилось пламя. Завыло, загудело, вмиг обняв весь огромный муравьиный дом.

Заметались черноголовики, скрючиваясь от невыносимого жара, затрещала сухая хвоя, и даже старая

ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскаленного воздуха.

А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились, сгорая, муравьи, как упорно не разбегались они, а, наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в тщетной надежде спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд миллионов крохотных существ, как завивается от жара хвоя на старой ели и как со всех сторон бегут к костру тысячи муравьев, отважно бросаясь в огонь.

— Фейерверк! — восхитилась пегая. — Салют победы!

— Вот и все дела, — усмехнулся сивый. — Человек — царь природы. Верно, малец?

— Царь? .. — растерянно переспросил Колька.

— Царь, малец. Покоритель и завоеватель.

Муравейник догорал, оседая серым, мертвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул еще раз, и все было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожарища.

— Отвоевали место под солнцем, — пояснил лысый. — Теперь никто нам не помешает, никто нас не побеспокоит.

— Надо бы отпраздновать победку-то, — сказал плешивый. — Сообразите что-нибудь по-быстрому, девочки.

— Верно, — поддержал сивый. — Мужика надо угостить.

— И муравьев помянуть! — захохотал лысый.

И все пошли к лагерю.

Сзади плелся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же принес бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька спросил шепотом:

— Как же так, тятька? Ведь живые же они...

— Да вот, — вздохнул Егор. — Стало быть, так, сынок, раз оно не этак...

На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рогульки, а когда закончил, бабенки клеенку расстелили и расставили закуски.

— Идите, — позвали. — Перекусим на скорую руку.

— Да мы... это... Не надо нам.

— Всякая работа расчета требует, — сказал сивый. — Мальцу — колбаски, например. Хочешь колбаски, малец?

Против колбаски Колька устоять не мог: не часто он видел ее, колбаску-то эту. И пошел к накрытой клеенке раньше отца: тот еще вздыхал да хмурился. А потом поглядел на Кольку и тихо сказал:

— Ты бы руки сполоснул, сынок. Грязные руки-то, поди.

Колька быстренько руки вымыл, получил булку с колбасой, наслаждался, а в глазах мураши бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали, и брюшки у них лопались от страшного жара.

И Егор этих мурашей видел. Даже глаза тер, чтоб забылись они, чтоб из памяти выскочили, а они копошились. И муторно было на душе у него, и делать

ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось. Но подсел, когда еще раз позвали. Молча подсел, хоть и полагалось слова добрые людям за приглашение сказать. Молча подсел и молча принял от сивого эмалированную кружку.

— Пей, Егор. С устатку-то употребляешь, по глазам видно. Употребляешь ведь, а?

— Дык это. . . Когда случается.

— Считай, что случилось.

— Ну, чтоб жилось вам тут, значит. Чтоб отдыхалось.

Не лезли слова из него, никак не лезли. Черно на душе-то было, и опрокинул он эту кружку, никого не дожидаясь.

— Вот это по-русски! — удивился плешивый.

Сроду Егор такую порцию в себя не вливал. Да и пить-то пришлось что-то куда как водки позабористее: враз голову закружило, и все муравьи куда-то из нее подевались. И мужики эти показались ему такими своими, такими добрыми да приветливыми, что Егор и стесняться перестал, и заулыбался от уха до уха, и разговорился вдруг:

— Тут у нас природа кругом. Да. Это у нас тут — пожалуйста, отдыхайте. Тишина, опять же спокой. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животина, всякая муравьятина, всякая елка-березонька — все по спокою своему тоскуют. Вот и мураши, обратно же, они... это... тоже.

— Философ ты, Егор, — хохотал сивый. — Давай излагай программу!

— Ты погоди, мил человек, погоди. Я чего хочу сказать? Я хочу... этого...

— Спирту ты хочешь!

— Да погоди, мил человек...

Когда Егор выкушивал такую порцию, он всех величал одинаково: «мил человек». Это, так сказать, на первом этапе. А на втором теплел: «мил дружок» обращался. Моргал ласковыми глазками, улыбался, любил всех бесконечно, жалел почему-то и все пытался хорошее что-то сказать, людей порадовать. Но мысли путались, суетились, как те черноголовики, а слов ему сроду не хватало: видно, при рождении обделили. А уж когда вторую-то кружечку опрокинул, и совсем затуманился.

— Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разделе, с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас — голубое. А можно разве черным по голубому-то, а? По сини небесной — номера? Не-ет, мил дружок, нехорошо это — арифметикой по небу. Оно для другого дадено, оно для красоты, для продыху душе дадено. Вот!

— Да ты поэт, мужик. Сказитель!

— Ты погоди, мил дружок, погоди. Я чего хочу сказать-то? Я хочу, чтоб ласково всем было, вот. Чтоб солнышка всем теплого вдосталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки-муравки в удовольствие полное. Чтоб радости, радости чтоб поболе, мил дружки вы мои хорошие! Для радости да для веселья души человек труд свой производить должен.

— Ты лучше спляши нам для веселья-то. Ну?.. Ай люли, ай люли! «Светит месяц, светит ясный...»

— Не надо! — крикнула было рыжая. — Он же на ногах не стоит, что вы!

— Кто не стоит? Егор не стоит? Да Егор у нас — молоток!

— Давай, Егорушка! Ты нас уважаешь?

— Уважаю, хорошие вы мои!

— Не надо, тятенька!

— Надо, Колюшка. Уважить надо. И — радостно. Всем — радостно! А что мурашей вы пожгли, то бог с вами. Бог с вами, мил дружки мои хорошие!

Захлопал плешивый:

— «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягодка малинка, малинка моя!..» Шевелись, Егор!

Пели, в ладоши хлопали, только сынок да рыжая смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел. Он видел неуловимые, расплывающиеся лица, и ему казалось, что лица эти расплываются в счастливых улыбках.

— Эх, мил дружки вы мои хорошие! Да чтоб я вас не уважил?..

Три раза вставал — и падал. Падал, хохотал до слез, веселился, и все хохотали и веселились. Кое-как поднялся, нелепо затоптался по поляне, размахивая не в лад руками. А ноги путались и гнулись, и он все совался куда-то не туда, куда хотел. Туристы хохотали на все лады, кто-то уже плясал вместе с ним, а рыжая обняла Кольку и конфетами угощала.

— Ничего, Коля, ничего. Это сейчас пройдет у него, это так, временно.

Не брал Колька конфет. И смотрел сквозь слезы. Злые слезы были, жгучие.

— Давай, Егор, наяривай! — орал сивый. — Хорошо гуляем!

— Ах, мил дружок, да для тебя...

Кривлялся Егор, падал — и хохотал. От всей души хохотал, от всего сердца: весело ему было, очень даже весело.

— Ай люли, ай люли! Два притопа, три прихлопа!..

— Не надо!.. — закричал, затрясся вдруг Колька, вырвавшись из рук рыжей. — Перестань, тятька, перестань!

— Погоди, сынок, погоди! Праздник ведь какой! Людей хороших встретили. Замечательных даже людей!

И опять старался: дрыгался, дергался, падал, поднимался.

— Тятька, перестань!.. — сквозь слезы кричал Колька и тащил отца с поляны. — Перестань же!..

— Не мешай гулять, малец! Давай, давай отсюда.

— Шевели ногой, Егор! Хорошо гуляем!

— Злые вы! — кричал Колька. — Злые, гадкие! Вы нас, как мурашей тех, да? Как мурашей?..

— Егор, а сынок-то оскорблять нас. Нехорошо.

— Покажи отцовскую власть, Егор!

— Как не стыдно! — кричала рыжая. — Он же не соображает сейчас ничего, он же пьяный, как же можно так?

Никто ее не слушал: веселились. Орали, плясали, свистели, топали, хлопали. Колька, плача навзрыд, все волок куда-то отца, а тот падал, упирался.

— Да дай ты ему леща, Егор! Мал еще старшим указывать.

— Мал ты еще старшим указывать... — бормотал Егор, отталкивая Кольку. — Ступай отсюда. Домой ступай, берегом.

— Тятька-а!..

— Ы-их!..

Размахнулся Егор, ударил. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался: обмер вроде. И все вдруг замолчали. И пляска закончилась. А Колька вмиг перестал плакать, словно выключили его. Молча поднялся, отер лицо рукавом, поглядел в мутные отцовские глаза и пошел.

— Коля! Коля, вернись! — закричала рыжая.

Не обернулся Колька. Шел вдоль берега сквозь кусты и слезы. Так и скрылся.

На поляне стало тихо и неуютно. Егор покачивался, икал, тупо глядя в землю. Остальные молчали.

— Стыдно! — громко сказала рыжая. — Очень стыдно! — И ушла в палатку.

И все засовестились вдруг, глаза начали прятать. Сивый вздохнул:

— Перебор. Давай, мужик, отваливай. Держи трояк, садись в свое корыто — и с океанским приветом.

Зажав в кулаке трешку, Егор, шатаясь, побрел к берегу. Все молча глядели, как летел он с обрыва, как брел по воде к лодке, как долго и безуспешно пытался влезть в нее. Пегая сказала брезгливо:

— Алкоголик!

Егор с трудом взобрался в лодку, кое-как, путаясь в веслах, отгреб от берега. Поднялся, качаясь, на ноги, опустил в воду мотор, с силой дернул за пусковой шнур и, потеряв равновесие, полетел через борт в воду.

— Утонет!.. — взвизгнула пегая.

Егор вынырнул: ему было по грудь. Со лба свисали осклизлые космы тины. Уцепился за борт, пытаясь влезть.

— Не утонет, — сказал сивый. — Тут мелко.

— Эй, мужик, ты бы лучше на веслах! — крикнул лысый. — Мотор не трогай, на веслах иди!

— Утенок! — вдруг весело отозвался Егор. — Утеночек это мой! Соревнование утенка с поросенком!

Борт был высок, и, для того чтобы влезть, Егор изо всех сил раскачивал лодку. Раскачав, навалился, но лодка вдруг кувырнулась из-под него, перевернувшись килем вверх. По мутной воде плыли веселые весла. Егор опять скрылся под водой, опять вынырнул, отфыркиваясь, как лошадь. И, уже не пытаясь переворачивать лодку, нащупал в воде веревку и побрел вдоль берега, таща лодку за собой.

— Эй, может, помочь? — окликнул лысый.

Егор не отозвался. Молча пер по грудь в воде, весь в тине, как водяной. Оступался, падал, снова вставал, мотая головой и отплевываясь. Но веревку не отпускал, и перевернутая килем вверх лодка тяжело волочилась сзади.

А мотора на корме не было. Ни мотора, ни бачка с бензином, ни уключин: все ушло на дно. Но Егор не оглядывался и ничего сейчас не соображал. Просто волок лодку вокруг всего водохранилища в хозяйство усталого Якова Прокопыча.

6

«Где дурак потерял, там умный нашел» — так-то старики говаривали. И они многое знали, потому как дураков на их веку было нисколько не меньше, чем на нашем.

Федор Ипатович в большой озабоченности дни проживал. Дело не в деньгах было — деньги имелись. Дело было в том, что не мог разумный человек с деньгами своими добровольно расстаться. Вот так вот, за здорово живешь, выложить их на стол, под чужую руку. Невыносимая для Федора Ипатовича это была задача.

А решать ее приходилось, невыносимую-то. Приходилось, потому что новый лесничий (вежливый, язви его!), так новый лесничий этот при первом же знакомстве отчеты полистал, справочки просмотрел и спросил:

— Во сколько же вам дом обошелся, товарищ Бурьянов?

— Дом? — Дошлый был мужик Федор-то Ипатович: сразу смикитил, куда щеголь этот городской оглоблю гнет. — А прежний за него отдал. Новый мне свояк ставил, так я ему за это прежний свой уступил. Все честь по чести: могу заявление заверенное...

— Я не о строительстве спрашиваю. Я спрашиваю: сколько стоит лес, из которого выстроен ваш новый дом? Кто давал вам разрешение на порубку в охранной зоне и где это разрешение? Где счета, ведомости, справки?

— Так ведь не все сочтешь, Юрий Петрович. Дело наше лесное.

— Дело ваше уголовное, Бурьянов.

С тем и расстались, с веселым разговором. Правда, срок лесничий установил: две недели. Через две недели просил все в ажур привести, не то...

— Не то хана, Марья. Засудит.

— Ахти нам, Феденька!

— Считаться хотите? Ладно, посчитаемся!

Деньги-то имелись, да расстаться с ними сил не было. Главное, дом-то уже стоял. Стоял дом — картинка, с петухом на крыше. И задним числом за него деньгу гнать — это ж обидно до невозможности.

Поднажал Ипатович. Пару сотен за дровишки выручил. Из того же леса, вестимо: пока лесничий в городе в карту глядел, лыко драть можно было. Грех лыко не драть, когда на лапти спрос. Но разворачиваться вовсю все же опасался: о том, что лесничий строг, и до поселка слух дополз. В другие возможности кинулся. И сам искал и сына натаскивал:

— Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет.

Вовка и унюхал. Невелика, правда, пожива: три десяточки всего за совет, разрешение да перевозку. Но и три десяточки — тоже деньги.

Тридцатку эту Федор Ипатович с туристов содрал. Заскучали они на водохранилище тем же вечером: рыба не брала. Вовка первым про то дознался (братика искать послали, да до братика ли тут, когда рублем веет!). Дознался и отцу доложил. Тот прибыл немедля, с мужиками за руку поздоровался, папироску у костра выкурил, насчет клёва посокрушался и сказал:

— Есть одно местечно — и рыбно, и грибно, и ягодно. Но запретное. Потому-то и щуки там — во!

Долго цену набивал, отнекивался да отказывался. А как стемнело, лично служебную кобылу пригнал и перебросил туристов за десять километров, на берег Черного озера. Там и вправду пока еще клевало, и клёв этот обошелся туристам ровнехонько в тридцаточку. Умел жить Федор Ипатович, ничего не скажешь!

Вот потому-то Егор, через два дня опамятовав-

шись и в соображение войдя, припомнил, где был, но туристов тех на месте не обнаружил. Кострище обнаружил, банки пустые обнаружил да яичную скорлупу.

А туристы сгинули. Как сквозь землю.

И мотор тоже сгинул. Хороший мотор, новый: «Ветерок», восемь сил лошадиных да одна Егорова. И мотор сгинул, и бачок, и кованые уключины. Весла, правда, остались, углядел их Егор в тростниках: лопастя-то у них огнем горели, издалека видать было.

Но это все он потом выискал, когда опамятовался. А по первости в день тот развеселый хохотал только. К солнышку закатному лодку до хозяйства Якова Прокопыча доволок, смеху вместо объяснений шесть охапок вывалил и трудно, на шатких ногах, домой направился. И собаки за ним увязались.

Так в собачьей компании ко двору и притопал. Это обыкновенных пьяных собаки не любят, а Егора всякого любили. Лыка ведь не вязал, ноги не держали, а псы за ним перли, как за директорской Джильдой. И, говорят, будто не сам он в калитку стучал, а кто-то из приятелей его лично лапой сигнал отстукал.

Ну, насчет этого, может, и привирают...

А Харитина, с превеликим трудом Егора в сарай затолкав и заперев его там от греха, первым делом к свояку бросилась, к Федору Ипатовичу, сообщить, что пропал, исчез Колька.

— Погоди заявлять, Тина, с милицией связаться всегда поспеем. Искать твоего Кольку надо: может, заигрался где.

Вовку в поиск отрядил: вдоль берега, вдоль Егоровой бурлацкой дорожки. Побегал Вовка, покричал,

поаукался и на «ау» к туристам вышел. Кепку издаля скинул, как отец учил:

— Здравствуйте, дяденьки и тетеньки тоже. Братика ищу. Братик мой двоюродный пропал, Коля. Не видали часом?

— Посещал нас твой кузен. Утром еще.

«Кузен» — это для смеха, а всерьез — так всё рассказали. И как тут дядя Егор напился, и как безобразничал, и как драку затеял.

— Он такой, — поддакивал Вовка. — Он у нас шебутной, дяденька.

А Харитина, слезами исходя, все по поселку бегала и про причитания свои забыла. Всхлипывала только:

— Колюшку моего не видали, люди добрые? Колюшку, сыночка моего? . .

Никто не видел Кольку. Пропал Колька, а дома ведь еще и Ольга имелась. Ольга и Егор. Но Егор храпел себе в сараюшке, а Ольга криком исходила. И крик этот Харитину из улицы в улицу, из проулка в проулок, из дома в дом сопровождал: доченька-то горластенькая была. И пока слышала она ее, так хоть за доченьку душа не болела: орет — значит, жива. А вот как стихла она вдруг, так Харитина чуть на ногах устояла:

— Придушили!

Кто придушил, об этом не думалось. Рванулась назад — только платок взвился. Ворвалась в дом — у кроватки Колькина учительница стоит, Нонна Юрьевна, а в кроватке Ольга на все четыре зуба сияет.

— Здравствуйте, Харитина Макаровна. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Коля ваш у меня.

— Как так у вас? Какое же такое право имеете чужих детей хитить?

— Обидели его очень, Харитина Макаровна. А кто обидел, не говорит, только трясется весь. Я ему валерьяночки дала, чаем напоила — уснул. Так что пожалуйста, не волнуйтесь и Егору Савельевичу скажите, чтобы тоже не волновался зря.

— Егор Савельич с кабанчиком беседу ведут. Так что особо не волнуются.

— Устроится все, Харитина Макаровна. Все устроится: завтра разберемся.

Не поверила Харитина: лично с Нонной Юрьевной Кольку глядеть побежала. Действительно, спал Колька на раскладной кровати под девичьим одеялом. Крепко спал, а на щеках слезы засохли. Нонна Юрьевна будить его категорически запретила и Харитину после смотрин этих назад наладила. Да Харитине не до того тогда было, не до скандалов.

Наутро Колька не явился, а Егор, хоть и проспался, ничего вспомнить так и не смог. Лежал весь день в сараюшке, воду глотал и охал. Даже к Якову Прокопычу, когда тот самолично во двор заявился, не вышел. Не соображал еще, что к чему, кто такой Яков Прокопыч и зачем он к ним прибыл, по какому делу.

— Мотор, бачок да уключины. Триста рублей.

— Три ста? . .

Сроду Харитина таких денег не видала и потому все суммы больше сотни именовала уважительно и раздельно: три ста, четыре ста, пять ста. . .

— Три ста? . . Яков Прокопыч, товарищ Сазанов, помилуй ты нас!

— Я-то милую — закон не милует, товарищ Полушкина. Ежели через два дня на третий имущества

не обрету, милицию подключим. Акт составлять буду.

Ушел Яков Прокопыч. А Харитина в сарай кинулась: трясла муженька, дергала, ругала, била даже, — Егор только мычал. Потом с превеликим трудом рот разинул, шевельнул языком:

— А где я был?

Тут уж не до Кольки: тот у Нонны Юрьевны обретается, не пропадет. Тут все разом пропасть могли, со всеми потрохами, и потому Харитина, ушат воды мужу в сараюшку затащив, вновь заперла его там и опять кинулась к родне единственной — к сестрице Марьице да Федору Ипатычу:

— Спасите, родненькие! Три ста рублей стребовали!

— По закону, — сказал Федор Ипатович и вздохнул круто. — Закон, Тина, не объегоришь.

— По миру ведь пойдем-то! По миру, сестрица!

— Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют. И не три сотни, куда поболее. Так не бегаем ведь, в ногах не валяемся. Так-то, Харя моя миленькая, так-то.

Весь день Харитина куда-то металась, кому-то плакалась да так ни с чем домой и вернулась. Крутилась-вертелась, а день прошел — и словно не было его: все на своих местах осталось. И мотор на дне, и три сотни на шее, и муж у поросенка, и Колька в чужом дому.

За ночь Егор ушат высушил, проспался и к утру окончательно вернулся в образ. Вышел из сараюшки тише прежнего, хотя тише вроде и некуда уже было. А Харитина, за ночь в хвощ высохнув, тоже вдруг потишела и об одном лишь упрашивала:

— Ты вспомни, где был-то, Егорушка. С кем пил да как шел потом...

Кое-что она, правда, знала: не от Кольки — тот молчал насмерть, только голову отворачивал, — от Вовки-племянника: «Туристы ему поднесли, тетя Тина».

— Туристы?.. — Мутно было в голове у Егора. Мутно, пусто и неуютно, словно все мысли впопыхах в другой дом съехали, оставив после себя рухлядь да мусор. — Какие такие туристы?

— Ты к Сазанову иди, к Якову Прокопычу, Егорушка. Он все знает. И мотор этот найди. Господом с богородицей тебя заклинаю и детьми нашими: найди!

Полдня Егор «Ветерок» тот да бачок с уключинами на дне искал. Нырял, шарил, бродил по воде, дно ногами ощупывая. Трясся в ознобе на берегу, выкуривал цигарку, снова в воду лез. Не помнил он, где лодку-то перевернул, а указать некому было: турист тот уже на Черном озере рыбкой баловался. И, продрогнув до костей да пачку махорки выкурив, Егор прекратил ныряния. Уключину в тине нашел да два весла в тростниках и с тем к Якову Прокопычу и прибыл.

— Дайте лодку, Яков Прокопыч. С лодки я багром нащупаю, а то знобко. Сильно знобко там ногами-то тину топтать.

— Нет тебе лодки, Полушкин. Из доверия ты моего вышел. Доставай имущество, тогда поглядим.

— Куда поглядим-то?

— На твое дальнейшее поведение.

— В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч. Обезножу.

— Нет, Полушкин, и не проси. Принцип у меня такой.

— Ничего с вашим принципом не сделается, Яков Прокопыч. Богом клянусь.

— Принцип, Полушкин, это, знаешь...

— Знаю, Яков Прокопыч. Все я теперь знаю.

Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять занудил чего-то — длинное, унылое, — он не слушал. Смахнул с белых ресниц две слезинки непрошеных, сказал вдруг невпопад:

— Ну, катайтесь.

И зашвырнул ту единственную уключину, что полдня искал, обратно в воду. И — пошел. Яков Прокопыч вроде онемел сперва, вроде поглупел с внешности, вроде челюсть даже отвесил. Потом только заорал:

— Полушкин! Стой, говорю, Полушкин!..

Остановился Егор. Поглядел, сказал тихо:

— Ну, чего орешь, Сазанов? Триста рублей начету на меня? Будут тебе триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип.

Домой шагал, под ноги глядя. И дома глаз не поднимал: бровями белесыми занавесился, и как Харитина ни старалась, взгляда его так и не встретила.

— Не нашел, Егорушка? Мотор тот не сыскал, спрашиваю?

Не ответил Егор. Прошел к столу кухонному, ящик из него выдернул и вывалил все ложки-плошки прямо на столешницу.

— Еще полденька у нас, полденька, Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдем искать? Может, донышко все ощупаем?

Молчал Егор. Молча ножи осматривал: какой

меньше гнется. Выбрал, брусок с полки достал, плюнул на него и начал жало ножу наводить. Обмерла Харитина:

— Ты зачем ножичек-то вострищь, Егор Савельич?

Молча шаркал Егор ножом по брусочку: вжиг да вжиг. И брови в линию свел. Выгоревшие брови были, нестрашные, а свел.

— Егор Савельич...

— Воду вскипяти, Харитина. И тазы готовь.

— Это зачем же?

— Кабанчика кончать буду.

Харитина наседкой вскинулась:

— Что?!

— Делай, что велел.

— Да ты... Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный! Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? Чем? Подаянием Христовым?

— Я тебе все сказал.

— Не дам! Не дам, не позволю! Люди добрые!..

— Не ори, Харитина. У меня тоже свой принцип есть, не у него одного.

Сроду он этих кабанчиков не колол: всегда просил, у кого глаз пожестче... А тут озверел словно: всхлипывал, вздрагивал, ножом бил, не глядя. Все горло кабанчику исполосовал, но кончил. И кабанчик тот сразу у них просолился, потому что слезы на него из четырех глаз капали.

Хорошо еще, Кольки не было. У учительницы Колька отсиживался, у Нонны Юрьевны. Спасибо, добрая душа встретилась, хотя и девчоночка совсем еще одинокая. Из города.

К ночи разделали: мясо в мешки увязали, потроха себе оставили. Взвалил Егор мешки на загорбок и в ночь на станцию ушел. Надеялся в город к рассвету попасть и занять на рынке местечко, какое побойчей, потому как на собственную бойкость уже не рассчитывал. И так не больно-то боек мужик был, а теперь и подавно: вглубь вся живость его ушла, как рыба в холода.

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

7

Так случилось, что Колька Полушкин ни разу в жизни ни с кем всерьез не ссорился. Ни поводов не встречалось, ни драчливых приятелей, и, хоть боли самой разнообразной натерпелся предостаточно, боль эта только тело задевала. А вот душу никто еще доселе не трогал, никто не задевал, и потому к обидам она была непривычна. Нетренированная душа у парня была: большой, конечно, недостаток для жизни, если жизнь эту мерками дяденьки его отмерять, Федора Ипатовича Бурьянова.

Но Колька своими мерами руководствовался, и поэтому отцовская оплеуха угольком горела в нем. Горела и жгла, не затухая. Пустяк, казалось бы, чепуховина: родная ведь рука по загривку пришлась, не соседская. Станешь объяснять кому, засмеют:

«Не блажи, малец! На отца ведь кровного губы-то дуешь, сообрази».

Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька ни соображал. Чего-то еще требовалось, и потому он, от слез ослепнув, пошел туда,

где — верил он — и без соображений все поймут, разберутся и помогут.

— А они говорят: «Дай ты ему леща!» А он и ударил.

— А ты добрый будь и будь сильный!

Нонна Юрьевна хорошо умела слушать. Глядела как на взрослого, всерьез глядела, и именно от этого взгляда Колька оковы вдруг все растерял и заплакал навзрыд. Заплакал, уткнулся Нонне Юрьевне в коленки лбом, и она утешать его не стала. Ни утешать, ни уговаривать, что, мол, пустяки это все, забудется: отец же приложил, не кто-нибудь. Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров Нонна Юрьевна сладким чаем его напоила, лекарства дала и спать уложила:

— Завтра, Коля, разговаривать будем.

Наутро Колька немного успокоился, но обида не прошла. Она, обида-то эта, словно внутрь него залезла, так залезла, что он мог теперь на обиду эту как бы со стороны глядеть. Будто в клетке она сидела, как зверек какой. И Колька все время зверька этого неуживчивого в себе чувствовал, изучал — и не улыбался. Дело было серьезным.

— Если бы он сам собой меня ударил. Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает? Зачем же?

— Но ведь добрый же он, отец-то твой, Коля. Очень добрый человек. Ты согласен?

Нонна Юрьевна не спорила: спорить тут было трудно, так как этот-то предмет Колька знал куда лучше. Намекнула осторожно: может, с отцом переговорить? Но Колька намек этот встретил воинственно:

— А кто виноват, тот пусть первым и приходит.

— Можно разве от старших такое требовать?

— А раз старший, так пример показывай: так ведь вы учили? А он какой пример показывает? Будто он крепостной, да? Ну, а я крепостным ни за что не буду, ни за что!

Вздыхала Нонна Юрьевна. Где-то там, в недосягаемом, почти сказочном Ленинграде, осталась одинокая мать, учительница. Единственная из большой, шумной семьи пережившая блокаду и в мирные дни потерявшая мужа. Такая же тихая, старательная и исполнительная, как и Нонна Юрьевна: велено было дочери после учебы ехать сюда, в глухомань, на работу, — только поплакала.

«Береги себя, доченька».

«Береги себя, мамочка».

Нонна Юрьевна в поселке мышонком жила: из дому — в школу, из школы — домой. Ни на танцы, ни на гулянья, будто не двадцать три ей, а все шестьдесят восемь.

— Хочешь песню про Стеньку Разина послушать?

Пластинок у Нонны Юрьевны целых два ящика. А книг еще больше. Хозяйка даже опасалась:

«Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете».

«Почему вы так решили?»

«А на книжки больно тратитесь. Себя бы хоть пожалели: мужики книжных не любят».

Мужики, может, и не любили, а вот Колька очень любил. И целый там день они пластинки слушали, стихи читали, про зверей разговаривали и снова пластинки слушали.

— Ну голосище, да, Нонна Юрьевна? Аж лампочка вздрагивает!

— Это Шаляпин, Коля. Федор Иванович Шаляпин. Запомни, пожалуйста.

— Обязательно даже запомню. Вот уж, наверно, силен был, да?

— Трудно сказать, Коля. Родину оставить и умереть в чужой стране — это как, сила или слабость? Мне думается, что слабость.

— А может, он от обиды?

— А разве на родину можно обижаться? Родина всегда права, Коля. Люди могут ошибаться, могут быть неправыми, даже злыми, но родина злой быть не может, ведь правда? И обижаться на нее неразумно.

— А тятька говорит, что у нас страна самая замечательная. Ну прямо самая-самая!

— Самая-самая, Коля.

Грустно улыбалась Нонна Юрьевна, но Кольке не понять было, почему она так грустно улыбается. Он не знал еще ни что такое одиночество, ни что такое тоска. И даже первая его встреча с обычной человеческой несправедливостью, первая его настоящая обида была все-таки ясна и понятна. А грусть Нонны Юрьевны была подчас непонятна и ей самой.

На второй день Колька не выдержал добровольного затворничества и сбежал. Пока его тятька бессчетные разы нырял за мотором, Колька задами, чтоб на мать не наткнуться, выбрался из поселка. Тут перед ним три дороги открывались, как в сказке: на речку, где ребятня поселковая купалась, в лес, через плотину, и на лодочную станцию, куда он совсем еще недавно бегал с особым удовольствием. И, как ви-

тязь в сказке, Колька тоже потоптался, тоже поразмыслил, тоже повздыхал и свернул налево: в хозяйство Якова Прокопыча.

— Ну, что скажешь? — спросил Яков Прокопыч в ответ на Колькино «здравствуйте». — Какие еще огорчения сообщишь?

Очень волнуясь и даже малость заикаясь от этого волнения, Колька торопливо, взахлеб рассказал заведующему про весь позавчерашний день. Про то, как ладно бежала лодка и как разворачивались дальние берега. Про то, как старательно помогал Егор туристам. Про матрасы и костер, про муравьиный пожар и желтую палатку. Про колбасу с булкой и две эмалированные кружки, которые опрокинул тятька с устатку под настойчивые просьбы приехавших. И еще как плясал он потом, как падал...

Яков Прокопыч слушал внимательно, не перебивая, только моргал сердито. В конце уточнил:

— И ты, значит, ушел?

— Ушел, — вздохнул Колька, так и не решившись поведать о пощечине. — Я ушел, а он остался. С мотором еще.

— Значит, ты не виновен, — сказал, помолчав, заведующий. — А я тебя и не привлекаю: не ты у меня работаешь.

— Я же не для того, — вздохнул Колька. — Я же все, как было, рассказал. Он же переживает, дяденька Яков Прокопыч.

— Он бесплатно переживает, а я — за деньги. Ладно... Все ясно. Мал еще учить. Мал. Ступай отсюда. Ступай и не появляйся: запрещаю.

Ушел Колька. Без особых, правда, огорчений ушел, потому что ни на что не рассчитывал, разговор этот

затевая. Просто не мог он не поговорить с Яковом Прокопычем, не мог не рассказать ему, как все было, зная, что тятька про то никогда и никому не расскажет. А то, что Яков Прокопыч, про все узнав, просто-напросто прогонит его, Колька предчувствовал и поэтому не удивился и не расстроился. Задумался только и опять пошел к учительнице.

— Почему это люди такие злые, Нонна Юрьевна?

— Неправда, Коля, люди добрые. Очень добрые.

— А почему же тогда обижают?

— Почему?..

Вздохнула Нонна Юрьевна: легко вам вопросы задавать. Можно было не ответить, конечно. Можно было и отделаться: мол, вырастешь — узнаешь, мал еще. Можно было и на другое разговор этот перевести. Но Нонна Юрьевна в глаза Кольке заглянула и лукавить уже не могла. Чистыми глаза были. И чистоты требовали.

— О том, что такое зло, Коля, и почему совершается оно, люди давно думают. Сколько существуют на свете, столько над этим и бьются. И однажды, чтобы объяснить все разом, дьявола выдумали, с хвостом, с рогами. Выдумали дьявола и свалили на него всю ответственность за зло, которое в мире творится. Мол, не люди уже во зле виноваты, а дьявол. Дьявол их попутал. Да не помог людям дьявол, Коля. И причин не объяснил, и от зла не уберег и не избавил. А почему? Как по-твоему?

— Да потому, что снаружи все искали! А зло — оно в человеке, внутри сидит.

— А еще что в человеке сидит?

— Живот! Из-за живота-то и зло. Всяк за живот свой опасается и всех кругом обижает.

— Кроме живота, есть еще и совесть, Коля. А это такое чувство, которое созреть должно. Созреть и окрепнуть. И вот иногда случается, что не вызревает в человеке совесть. Крохотной остается, зеленой, несъедобной. И тогда человек этот оказывается словно бы без советчика, без контролера в себе самом. И уже не замечаешь, где зло, а где добро: все у него смещается, все перепутывается. И тогда, чтобы рамки себе определить, чтобы преступлений не наделать с глухой-то своей совестью, такие люди правила себе выдумывают.

— Какие правила?

— Правила поведения: что следует делать, а что не следует. Выносят, так сказать, свою собственную малюсенькую совесть за скобки и делают ее несгибаемым правилом для всех. Ну, они, например, считают, что нельзя девушке жить одной. А если она все-таки живет одна, значит, что-то тут неладно. Значит, за ней надо особо следить, значит, подозревать ее надо, значит, слухи о ней можно самые нелепые...

Остановилась Нонна Юрьевна. Опомнилась, что свое понесла, что из общего и целого вывод сделала частный и личный. И даже испугалась:

— Господи, у меня же плитка на кухне не выключена!

Выбежала, а Колька этого и не заметил. Сидел, брови насупив, думал, прикидывал. Слова Нонны Юрьевны к своему житью-бытью примерял.

Насчет правил точно все сходилось. Видал Колька таких, что жили по своим правилам, а тех, кто этих правил не придерживался, считали либо дураками, либо хитрюгами. И если правила, по которым жил Яков Прокопыч, были простыми и неизменными, то

правила родного дядюшки, Федора Ипатовича, решительно расходились с ними. Они были куда изощреннее и куда гибче прямолинейных пунктиков контуженного сосной Якова Прокопыча Сазанова. Они всё могли оправдать и всё допустить — все, что только нужно было в данный момент самому Федору Ипатовичу.

И еще были тятькины правила. Простые: никому и никогда никаких правил не навязывать. И он не навязывал. И всегда жил тихо и застенчиво: все озирался, не мешает ли кому, не застит ли солнышка, не путается ли в ногах. За это бы от всей души спасибо ему сказать, но спасибо никто ему не говорил. Никто.

Хмурил Колька брови, размышлял, по каким правилам ему жить. И как бы сделать так, чтобы никаких правил вообще больше бы не было, а чтобы все люди вокруг поступали бы только по совести. Так, как тятька его поступал.

А пока Колька ломал голову над проблемами добра и зла, учительница Нонна Юрьевна тихонечко плакала на кухне. Хозяйка ушла, и можно было, не таясь и не прилаживая дежурных улыбок, вдоволь посокрушаться и над своей незадачливой судьбой, и над своими очками, и над ученой угловатостью, и над затянувшимся одиночеством.

А может, и правда, что мужчины книжных девушек не любят? . .

8

Поезд прибыл в областной центр в такую рань, что Егор оказался возле рынка в пять утра. Рынок был еще закрыт, и Егор остановился возле ворот,

положив мешки на асфальт. Сам же подпер плечом соседний столб, свернул цигарку вместо завтрака и начал с опаской раздумывать о предстоящей торговой операции. Сроду он в купцах не ходил, да и руки у него под топорище приспособлены были, не под навески-разновески. Дома, в горячке, он чересчур уж уверовал в собственные способности и теперь, хмурясь и вздыхая, сильно жалел об этом.

Чего греха таить: побаивался Егор базара. Побаивался, не доверял ему и так считал, что все равно обманут. Все равно на чем-нибудь да объегорят, и мечтать тут надо о том лишь, как бы не на все килограммы разом объегорили. Как бы хоть что-то выручить, хоть две из тех трех сотенных, что нависли над ним, как ненастье.

А тем временем и город зашевелился: машины зафыркали, дворники зашаркали, ранние дамочки каблуками зацокали. Егор на всякий случай поближе к мешкам подобрался, променяв удобный дальний столб на неудобный ближний, но вокруг колхозного рынка пока особой активности не наблюдалось. Мелькали, правда, отдельные личности, но облюбованных Егором ворот никто не отпирал.

— Эт-то что такое?

Оглянулся Егор: начальник. В шляпе, в очках, при портфеле. И пальцем в мешки целится.

— Эт-то что, спрашиваю вас?

— Свининка это, — поспешно пояснил Егор. — Свеженькая, значит. Личная убоинка.

— Убоинка? — Под шляпой грозно заерзали брови: вверх-вниз, вверх-вниз. — Кровь это! Кровь по асфальту струится антисанитарно, вот что я вижу отчетливо и невооруженно.

Из-под мешков действительно сочилась жалкая струйка сукровицы. Егор поглядел на нее, на строгого начальника, ничего не понял и поспешно захлопал глазами.

— За такие фортели рыночную продукцию бракуют, — строго продолжал начальник с портфелем. — Какая, говорите, у вас продукция?

— У меня? У меня никакая не продукция. Убоинка у меня. Поросячья.

— Тем более блюсти обязан. О холере наслышан? Нет? Чистота — залог здоровья! Фамилия?

— Мое?

— Фамилия, спрашиваю вас!

— Это... Полушкин.

— Пол-ушкин. — Гражданин в шляпе вынул книжечку и аккуратно занес в нее Егорову фамилию, что очень озадачило Егора. — Снизим оценочный балл, гражданин Полушкин. Знаете, за что именно. Вывод делайте сами.

Спрятал книжечку в карман, пошел не оглядываясь, а вслед ему Егор ошалело хлопал глазами. Потом к мешкам сунулся, хотел уж подхватить их, чтобы все было санитарно, да не успел. Двое из-за рынка выломились: один уж в годах, а второй середник. Пожилой завздыхал, зацокал:

— Ах, самоуправство, ах, паразит!

— Чего? — спросил Егор.

— Знаешь, кто это был? — спросил середник. — Главный по инспекции. Он штампы на мясо ставит.

— Штампы?

— Не поставит — хана товару. И продавать не разрешат, и в холодильник не допустят. Стухнет товарец.

— Чего? — спросил Егор.

— Строгачи кругом, страшное дело! — завздыхал пожилой. — Строгачи-перестраховщики: эпидемия, слыхал?

— Чего?

— Жмут вашего брата...

Закручинились прохожие, завздыхали, застрекотали: гигиена, санинспекция, эпидемия, категория, штампы, холодильник. Один справа стоял, другой слева расположился, и Егор, слушая их, все башкой вертел. Аж шею заломило.

— Да-а, влип ты, мужик.

— Вот он в прошлом месяце, — пожилой в середника ткнул, — на три сотни накрылся.

— Чего?

— Накрылся. С приветом, значит, три сотенных. Как те ласточки-касаточки.

— Чего?

— Да-а, было дело, было... У тебя чего тут, телятинка?

— Поросятинка. — Егор, разинув рот, глядел то на правого, то на левого. — Что же делать мне, мужики, а? Присоветуйте.

— А чего тут присоветуешь? Забирай свои мешки да дуй до дому. Сдашь в родном колхозе по рублю за килограмм.

— По рублю?

— По рублю не возьмут, — сказал середник. — Зачем им по рублю? От силы по семь гривен.

— Семь гривен? Нельзя мне по семь-то гривен, никак нельзя. Начет на меня. Три сотенных начет.

— Да-а, дела, — вздохнул пожилой. — Обидно,

конечно, но раз он твою фамилию записал, то все.

— Ну-у?

— Помог бы ты мужику-то, а? — попросил за Егора середник. — Видишь, и начет на него, и поросятинка тухнет.

— Трудно, — закручинился пожилой. — Ой, трудное это дело. Немыслимо!

— Мы понимаем! — зашептал, озираясь, Егор. — Мы это, трудности-то ваши, как говорится, учтем. Учтем ваше беспокойство.

— Это лишнее, — строго сказал пожилой. — Я к тебе всей, можно сказать, душой, а ты — деньги. Обижаешь.

— Обижаешь, — подтвердил середник.

— Да что вы, что вы! — перепугался Егор. — Это так я, так! Сболтнул я, граждане.

— Сболтнул он, — сказал середник. — Может, уважим?

— Главное тут — как начальство объехать, — размышлял пожилой. — Фамилия-то известна: записана фамилия-то. Вот в чем сложность. Может, лучше сразу все продать, а? Продать все чохом. Оптом, как говорится: полтора рубля за килограмм.

— Полтора? — ахнул Егор. — Да что вы, граждане милы! Грабиловка полная получается.

— Грабиловка, говоришь? А то, что фамилию твою на цугундер взяли, это как называется? Сам ты во всем виноват, раскорячился тут антисанитарно, а потом орешь: грабиловка! Да на что ты нам сдался, спрашивается? Мы же помочь тебе хотели, по-товарищески.

— Не хошь — как хошь, — сказал середник. — Ходи грязный.

И пошли оба. Заскучал Егор, замаялся, не выдержал:

— Мужики! Эй, мужики!

Остановились.

— Два рубля с полтинничком...

— Пошел ты!

И сами пошли. Заметался Егор пуще прежнего:

— Мужики! Граждане милые, не бросайте!

Опять остановились:

— Ну, чего тебе? Мы же тебе уважение оказываем, мы тебе помощь, можно сказать, за здорово живешь предлагаем, а ты — верть да круть, круть да верть.

— Несерьезный ты мужик. Так оно получается.

— Да куда же вы, граждане-товарищи? А я как же?

— А как хочешь.

К углу направились, за рынок. Закричал Егор:

— Стойте! Ладно уж, чего там гадать да выгадывать. Давай за все про все две сотенных да тридцаточку.

Знал ведь, что хитрят мужики. Хитрят, врут, изворачиваются, и от всего этого росло в его душе какое-то очень усталое открытие. Он вдруг вспомнил и Федора Ипатовича, выгадывавшего на чужом горе себе бревнышко; и Якова Прокопыча, беспокоившегося только о том, чтобы его, его лично, не коснулось чье-то несчастье; и туристов, и этих ловкачей, и еще многих других — таких же мелких, жадных и думающих только о себе. Вспомнил он обо всем этом и сказал:

— Давай за все про все...

— Ну, знаешь, это сперва прикинуть требуется. Волоки на весы свою продукцию.

Прикинули.

Домой Егор с двумя сотнями возвращался. Зато без мяса и — с подарками. Кому — ножичек, кому — платочек: всех одарил, никого не забыл. И на водку денег хватило. С порога объявил:

— Гостей покличь, Харитина. Всех зови: бригадиров, прораба, Якова Прокопыча, родню любезную. Зови всех: Егор Полушкин мир угощать желает.

— Ты о чем это думал-выдумал о чем размечтался-разнежился?

Не дал он Харитине до полного дыху дойти. Сел в красном углу под образами, сапог не снявши, ладонью по столу постучал:

— Все! Хоть день, да беспечально!

— Да ведь начету три ста. А ты за всего кабанчика — два ста. А где еще один ста?

— Я голова — я удумаю.

— Ты голова, а я шея: на мне хомут-то семейный...

Выхватил Егор из кармана деньги, затряс:

— Из-за бумажек этих да чтоб печалиться? Жизни красоту ими измерять? Слезы утирать? Да спалить их всенародно в жгучем пламени! Спалить и на пепле присядку плясать! Хоровод вокруг пламени этого! Чтоб застывшие согрелись, чтоб ослепшие прозрели! Чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений! Чтоб... Да я... я первый свои последние в купель ту огненную...

— Егорушка-а!..

Повалилась Харитина в ноги: спалит ведь последние, с него станется. Спалит, отведет душеньку, а потом либо за решетку тюремную, либо на осину горькую.

— Не губи семью, Егорушка, деток не губи! Все, как велишь, исполню, всех покличу, напарю-нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти от греха. Отдай, Христом-богом молю!

Обмяк вдруг Егор, словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать рыночных десяточек, сказал:

— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею.

Закивала Харитина, мышью в дверь юркнула. А Егор сел на лавку, достал кисет и начал советницу свою свертывать, цигарку-самопалку. Медленно свертывал, старательно. И не потому, что махорку жалел — ничего он сейчас не жалел! — а потому, что очень уж ему хотелось подумать. Но мысли эти его не слушались, разбегались по всем углам, и он пытался собрать их одна к одной, как махорочные крошки в обрывок газеты.

О многом хотелось подумать. Хотелось понять, что же такое произошло с ним, почему и — главное — за что. Хотелось рассудить, как быть дальше, где достать еще сотню и где отыскать завтрашний заработок. Хотелось помечтать о торжестве справедливости, о наказании всех неправых, злых и жадных. Хотелось счастья и радости, покоя и тишины. И — уважения. Хоть немного.

И еще очень хотелось плакать. Но плакать Егор не умел и потому просто сумрачно курил, уставясь в стол. А когда оторвался от него и глянул окрест, то вдруг увидел, что у дверей стоит Колька.

— Сынок... — И встал. И голову опустил. А потом сказал тихо: — Кабанчика-то я прирезал, сынок. Вот, значит.

— Я знаю.

Колька прошел к столу и сел на материно место — на табурет. А Егор все еще стоял, виновато склонив голову.

— Ты сядь, тятя.

Егор послушно опустился на лавку. Тыкал вслепую окурком в герань на окошке: только махра трещала. И глазами кругом бегал: вокруг Кольки. Колька поглядел на него, по-взрослому поглядел, пристально. А потом сказал:

— Ни в чем ты не виноват, тятя. Это я виноват.

— Ты? Как так выходит?

— Не остановил тебя вовремя, — вздохнул Колька. — Ты ведь у меня заводной товарищ, верно?

— Верно, сынок, правильно.

— Вот. А я не остановил. Стало быть, я и виноват. И ты в стол не гляди. Ты на меня гляди, ладно? Как прежде.

Прыгнули у Егора губы: не поймешь, улыбнуться хотел или свистнуть. Еле-еле совладел:

— Чистоглазик ты мой...

— Ну ладно, чего там! — сердито сказал Колька и отвернулся.

И правильно, что отвернулся, потому что у Егора в носу вдруг засвербило и сами собой две слезы по небритости проползли. Он смахнул их, заулыбался и заново начал свертывать цигарку. И пока свертывал ее, пока прикуривал, оба молчали: и отец и сын. А потом Колька повернулся, сверкнул глазами:

— Какого я мужичищу у Нонны Юрьевны слушал, ну, тять! Голосище! Прямо как у слона.

К вечеру Харитина поросячьей утробы нажарила, напарила и на стол выставила. Егор в чистой рубахе в красном углу сидел; слева — подарки, справа —

пол-литры. Каждого подарком встречал и граненым стаканчиком (лафитничков в обзаведении не имелось):

— Будь здоров, гость дорогой. Пей от горла, ешь от пуза, на подарочек радуйся.

Бригадиров и прорабов Харитина не собрала (а может, и не хотела), но Яков Прокопыч приперся.

— Зла на тебя, Полушкин, не держу, потому и пришел. Но закон уважаю сердечно. И тебя, значит, уважил и закон уважаю. Такая у меня постановка вопроса.

— Садись, Яков Прокопыч, товарищ Сазанов. Испробуй нашего угощения.

— С нашим полным удовольствием. Все должно быть соблюдено, верно? Все, что положено. А что не положено, то фантазии. Бензином бы их полить да и сжечь.

Федор Ипатович тоже присутствовал. Но в себе был весь, сумраком занавешенный. И потому помалкивал: ел да пил. Но Якову Прокопычу ответил:

— Всем на чужом пожаре занятья по душе найдется. Кому тушить, кому глазеть, а кому руки греть.

Вскинулся Яков Прокопыч:

— Как понимать, Федор Ипатыч, это примечание?

— Законников надо жечь, а не фантазии. Собрать бы всех законников да и сжечь. На очень медленном огне.

Разгореться бы тут спору, да Марьица не дала. Задергала мужа:

— Не спорь. Не встревай. Наше дело — сторона-сторонушка.

И Вовка с другого уха поддакнул:

— Может, лодка когда понадобится...

А Егор и не слышал из своего красного угла. Подарки раздавал, водкой заведовал. Сам пил, других угощал:

— Пейте, гости дорогие! Федор Ипатыч, свояк дорогой, мил дружок мой единственный, что нахмурился-засупонился? Улыбнись, взгляни бархатно, молви слово свое драгоценное.

— Слово? Это можно. — Поднял Федор Ипатович стакан. — С прибылью, хозяин, тебя. И с догадкой: раз кругом все такие законники, без догадки не проживешь. Вот вывернулся ты, значит, и молодец. Да. Хвалю. Чиста душа в рай глядит.

— В рай? — закручинилась Харитина. — Там, где рай, не наш край. Нам до рая ста рублей не хватает.

Удивилась Марьица:

— Ты что это, Тина, каких таких ста? Кабанчика, поди, не без выгоды...

Крепилась Харитина. Весь день крепилась, а тут сдала. Взвыла вдруг по-упокойному:

— Ой, сестрица ты моя Марьица, ой, братец ты мой Федор Ипатович, ой, вы гости мои ласковые...

— Да ты что, что, Тина? Да погоди голосить-то.

— Да ведь два ста рублей — вся убоинка.

— Двести?.. — Федор Ипатович даже хлебушек уронил. — Двести рублей? Это ж как так получается? Это почем же килограмм идет?

— А почем бы ни шел, да весь вышел, — сказал Егор. — Пейте-ешьте, гости...

— Нет, погоди! — строго прервал Федор Ипатович. — Свежая свининка — не баранинка. Да в это время, да в городе. Да по четыре рубля килограмм, вот как она идет!

Онемели за столом. А Яков Прокопыч поддакнул:

— Вокруг этой цены супруга моя рассказывала.

— Господи! — ахнула Харитина. — Господи, люди добрые!

— Погоди! — Федор Ипатович ладонью пристукнул: забыл с огорчения, что в гостях, не дома. — Так выходит, что на две сотни сам ты себя нагрел, Егор. Это же при долгах, при начете, при семействе да при бедности — две сотни чужому дяде? Бедоносец ты чертов!..

Ахнул Егор суковатым своим кулаком по столешнице, аж стаканы подпрыгнули:

— Замолчь! Считаете все, да? Выгоды подсчитываете, убытки вычитываете? Так не сметь в моем доме считать да высчитывать, ясно-понятно всем? Я здесь хозяин, самолично. А я одно считать умею: кому избу сложить, кому крышу покрыть, кому окно прорубить — вот что я считаю. И сыну своему это же самое в жизни считать наказываю. Три сотки у меня земли, и эти три сотки по моим законам живут и моими счетами считают. А закон у меня простой: не считай рубли — считай песенки. Ясно-понятно всем? Тогда пой, Харитина, велю.

Молчали все как пришибленные. Глядели на Егора, рты раззявив. Кольке это очень смешным показалось: он из-за стола в сени выскочил, чтоб отсмеяться там вволюшку.

— Спой, Тина, — сказал Егор. — Хорошую песню спой.

Всхлипнула Харитина. Подперла щеку рукой, пригорюнилась, как положено, и... И опять двинуло ее совсем не в ту сторону:

Ой, тягры-тягры-тягры,
Ой, тягры да вытягры!
Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул...

9

А на другой день на заготконторе объявление появилось. С газету размером. Печатными буквами всем гражданам сообщалось, что областные заготовители будут брать у населения лыко липовое. Отмоченное и высушенное, по полтинничку за килограмм. Пятьдесят копеечек звонкими.

Егор долго объявление читал. Прикидывал: полтина за кило — это, стало быть, рублевка за два. Восемь рублей пуд: деньги. Большие суммы можно заработать, если каждый день по пять пудов из лесу таскать.

А Федор Ипатович ничего не прикидывал. Некогда было: как только узнал об этом, так и запрягать побежал. Сел на казенную тележку и в лес подался вместе с Вовкой. И с ножами навостренными: ему-то о разрешении на лыкодрание не хлопотать стать. Да и в липняки сквозь завалы не ломиться: первый, известное дело, сливочки пьет, не снятое молочко. Вот так-то.

Ну, а Егор тем временем хлебал пустые щи и рассуждал как хозяин:

— Восемь, стало быть, рубликов пуд. Это по-старому — восемьдесят. Зарплату в день заработать можно, ежели, значит, подналечь.

Харитина не спорила: с поросячьих поминок притишела она. По дому сновала, по поселку суетилась,

по знакомым бегала. Хлопотала чего-то, добивалась, о чем-то просила. Егор был не в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось. Годилось гордость мужскую соблюдать в нерушимости.

А насчет лыка обману не было. Брали, кто пошустрее, разрешение у лесника — это у Федора, стало быть, Ипатовича, — в субботу-воскресенье спозаранку в лес отправились. Туда — спозаранку, оттуда — с вязанкой. Конечно, с вязанкой на горбу да впоперек буреломов много рублей не вытянешь, это понятно. Но если у кого мотоцикл — по двадцати пяти килограммов выхватывали. Неделю мочили, сучили, сушили — и в контору. Пожалуйте взвешивать.

Ну, Федор Ипатович на мелочи не разменивался: в первую же ночь воз из лесу выкачал. Еле лошадь доперла. И — вот голова мужик! — не в поселок, не к дому-пятистеночке: зачем лишнее обозрение? В воду кобылу загнал, там ее распряг, а воз вместе с лыком мокнуть оставил: телега не мотоцикл, ничего ей не сделается. И кобыле облегчение, и разговоров никаких, и вода продукцию прямо в телеге до кондиции доводит. Доведет — впряжем лошадь, и всё разом на берег. Растрясти да просушить — это и Марьица сделает. Тем более, в лесном его хозяйстве еще одна телега имелась: только лошадь перепрягай да дери это лыко, покуда серебро звякает.

Три воза Федор Ипатович таким манером из лесу доставил, пока свояк его умом раскидывал. Уставал, конечно, работа поту требует. И Вовку измучил, и себя извел, и кобылу издергал. Вовка прямо у порога падал, и мать его, сонного, в кровать волокла. А сам исключительно настоечкой держался: на укропе настоечка. Укрепляет. И только лафитничек опрокинул

(Марьица и графинчик-то со стола убрать не поспела), только, значит, принял во здравие: здрасте вам, Егор Полушкин. Собственной небритой персоной.

— Приятного вам угощения.

Крякнул Федор Ипатович — нет, не с лафитничка, с огорчения.

— Садись к столу, свояк дорогой, купец знаменитый.

Это в насмешку, но Егор на насмешку и внимания не обратил, на другое его внимание устремилось. Закивал, заблагодарил, заулыбался и к дверям оборотился — кепку повесить. А когда повесил и к столу шагнул, пиджак одергивая, то аж заморгал: нету графинчика-то. Ни графинчика, ни лафитничка: одна картошка на столе. Правда, с салом.

— Я ведь по делу-то к тебе, Федор Ипатыч.

— Ты поешь сперва. Дело обождет.

Поели. Марьица чай подала. Попили. Потом закурили и к делу подошли.

— Справку мне, свояк, надо бы. Насчет, значит, лыка. Полтинник за килограмм.

— Полтинник? — поразился Федор Ипатович. — Богатая у нас держава: направо — плотина, налево — полтина.

— Так ведь пока дают.

Посопел Федор Ипатович. Повздыхал строго.

— Бесхозяйственность, — сказал. — Лес тот заповедный, водоохранным называется, а мы его голим.

— Дык ведь...

— Обдерешь ты, скажем, липку, а она засохнет. Тебе прибыток, а государству что? Государству потеря.

— Верно-правильно. Только ведь как драть. Если умеючи...

— Не думаем о государстве, — опять закручинился хозяин. — О России не думаем совершенно. А надо бы нам думать.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!

Вздохнули оба, задумались. В цигарки уставились.

— Лыко умеючи драть надо, это ты, свояк, верно сказал. Но и с перспективой. Чтобы, значит, в грядущее. Об этом думать надо.

— Это мы понимаем, Федор Ипатыч.

— Ну ладно, так и быть. По-свойски отпущу тебе такую бумажку. Учитывая бедственное положение.

Правильно Федор Ипатович учитывал: было такое положение. Хоть и расплатился уже Егор сполна за утопленный мотор, но на прежней работе — на тихой да уважительной пристани — не остался. Сам ушел, по собственному желанию:

«Такой, стало быть, мой принцип, Яков Прокопыч».

И опять бегал, куда пошлют, делал, что велят, исполнял, что прикажут. И старался, как мог. Даже и не старался: стараются — это когда специально, когда себя насилуют, чтобы только все нормально сошло.

А у Егора и в мыслях не было что-либо плохое сделать, где-либо словчить, на авось сотворить, кое-ка́ком отделаться. Работал он всю жизнь и за страх и за совесть, а что не всегда все ладно выходило, так то не вина его была, а беда. Талант, стало быть, такой у него был, какой от роду достался.

Но в субботу, только туман рваться начал, над землей всплывая, взял Егор веревок побольше, ножи

навострил, топоришко за пояс засунул и подался в заповедный тот лес. За лыком, что ценился по полтиннику за килограмм. И Кольку с собой прихватил: лишний пуд — лишние восемь целковых. Впрочем, лишнего у него ничего еще не бывало.

— Липа — дерево важное, — говорил Егор, шагая по заросшей лесной дороге. — Она в прежние-то времена, сынок, пол-России обувала, с ложечки кормила да сладеньким потчевала.

— А чего у нее сладкое?

— А цвет. Мед с цвету этого особый, золотой медок. Пчела липняки уважает, богатый взяток берет. Самое полезное дерево.

— А береза?

— Береза — она для красоты.

— А елка?

— Это для материала. Елка, сосна, кедр, лиственница. Избу рубить или, скажем, какое полезное строение. Каждое дерево, сынок, оно для пользы: бездельных природа не любит. Кто для человека растет, на его нужду, а кто для леса, для зверья всякого или для гриба, скажем. И потому, прежде чем топором махать, надо поглядеть, кого обидишь: лося или зайца, гриб или белку с ежиком. А их обидишь — себя накажешь: уйдут они из леса-то порубленного, и ничем ты их назад не заманишь.

Хорошо было им идти по этой глухой дорожке, шлепать босыми ногами по росистой траве, слушать птиц и говорить об умной природе, которая все предусмотрела и все сберегла на пользу всему живому. К тому времени уж и солнышко вынырнуло, шишки на елях вызолотив, и шмели в траве запели. Колька на каждом повороте на компас смотрел:

— К западу свернули, тятя.

— Скоро дойдем. Я почему, сынок, в дальний-то липняк навостряюсь? А потому, что ближний-то больно уж красив. Больно в силе он состоит, цветущ больно, и трогать его не надо. Лучше вглубь сходим: ног нам не жалко. А липняк этот пусть уж цветет пчелам на радость да народу на пользу.

— Тять, а шмели к липе летят?

— Шмели? Шмели, сынок, все больше понизу стараются: тяжелы больно. Клевера обхаживают, цветы всякие. В природе тоже свои этажи имеются. Скажем, трясогузка, она по земле шастает, а ястреб в поднебесье летает. Каждому свой этаж отпущен, и потому никакой тебе суеты, никакой тебе толкотни. У каждого свое занятие и своя столовка. Природа, она никого не обижает, и все для нее равны.

— А мы, как природа, не можем?

— Дык это... как сказать, сынок. Должны бы, конечно, а не выходит.

— А почему не выходит?

— А потому, что этажи перепутаны. Скажем, в лесу все понятно: один родился ежиком, а другой — белкой. Один на земле шурует, вторая с ветки на ветку прыгает. А люди, они ведь одинаковыми рождаются. Все, как один, голенькие, все кричат, все мамкину титьку требуют да пеленки грязнят. И кто из них, скажем, рябчик, а кто кобчик, неизвестно. И потому все на всякий случай орлами быть желают. А чтоб орлом быть, одного желания мало. У орла и глаз орлиный и полет соколиный... Чуешь, сынок, каким духом тянет? Липовым. Вот аккурат за поворотом этим...

Аккурат завернули они за поворот, и замолк Егор.

Замолк, остановился в растерянности, глазами моргая. И Колька остановился. И молчали оба, и в знойной тишине утра слышно было, как солидно жужжат мохнатые шмели на своих первых этажах.

А голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обреченным вершинам.

— Сгубили, — тихо сказал Егор и снял кепку. — За рубли сгубили, за полтинники.

А пока отец с сыном, потрясенные, стояли перед загубленным липняком, Харитина в намеченной ею самой дистанции последний круг заканчивала. К финишу рвалась, к заветной черте, за которой чудилась ей жизнь если и не легкая, то обеспеченная.

При всей горластости характеру ей было отпущено не так уж много: на мужа кричать — это пожалуйста, а кулаком в присутственный стол треснуть — это извините. Боялась она страхом неизъяснимым и столов этих, и людей за столами, и казенных бумаг, и казенных стен, увешанных плакатами аж до потолка. Входила робко, толклась у порога: и требовать не решалась и просить не умела. И, испариной от коленок до мозжечка покрываясь, талдычила:

— Мне бы место какое. Зарплата чтоб. А то семья.

— Профессией какой владеете?

— Какая у меня профессия? За скотом ходила.

— Скота у нас нет.

— Ну мужики-то есть? За ними уход могу. Помыть, постирать.

— Ну, да у вас, Полушкина, редчайшая профес-

сия! Паспорт с собой? — В документ глядели, хмурились. — Дочка у вас ясельная.

— Олька.

— Яслей-то у нас нет. Ясли — в ведении Петра Петровича. К нему ступайте: как решит.

Шла к Петру Петровичу, на второй круг. От Петра Петровича — к Ивану Ивановичу на третий. А оттуда...

— Ну, вот что: как начальник скажет. Я в принципе не возражаю, но детей много, а ясли одни.

Этот круг был последним, финишным: к черте подводил. И за той чертой — либо твердая зарплата два раза в месяц, либо конец всем мечтам. Конца этого Харитина очень пугалась и потому с утра готовилась к свиданию с последним начальником со всей женской продуманностью. Платье новое по коленки окоротила, нагладилась, причесалась как сумела. И еще сумочку с собой прихватила, сестрицы подарок, Марьицы, к именинам. А Ольгу учительнице Нонне Юрьевне подкинула: пусть тренируется. Своих пора заводить, чего там. Выгулялась.

Ни жива ни мертва Харитина дверь заветную тронула: будто к царю Берендею шла или к Кощею Бессмертному. А за дверью вместо Кощея с Берендеем — дева с волосами распущенными. И коготки по машинке бегают.

— Мне к начальнику. Полушкина я.

— Идемте.

Умилилась Харитина: до чего вежливо. Не «обождите», не «проходите», а «идемте». И сама в кабинет проводила.

Начальник — пожилой уже, в черных очках — за столом сидел, как положено. Перед собой смотрел,

но строго ли, не поймешь: в очках ведь — как в печных заслонках.

— Товарищ Полушкина, — сказала дева. — По вопросу трудоустройства. — И вышла, облаком сладким Харитину обдав.

А начальник сказал:

— Здравствуйте, товарищ Полушкина. Присаживайтесь.

И руку поперек стола простер. Не ей — она с краю стояла, — а точнехонько поперек, и Харитине шаг в сторону пришлось сделать, чтобы руку эту пожать.

— Значит, никакой специальности у вас нет?

— Я по хозяйству больше.

К тому, что в каждом новом месте, у каждого нового начальника ее об одном и том же спрашивали, Харитина быстро привыкла. И частила сейчас:

— По хозяйству больше. Ну, в колхозе пособляла, конечно. А так — дети ведь. Двое. Олька — младшенькая, не оставишь. А тут кабанчика зарезать пришлось...

Слушал начальник, головой не ворочал, а куда смотрел — неизвестно, и как смотрел — тоже неизвестно. И потому путалась Харитина, плела словеса вместо сути и до того доплелась, что и остановиться не могла. И детей, и мотор, и кабанчика, и непреклонного Сазанова, и собственного мужа-бедоносца — всех в одну вязь повязала. И сама в ней запуталась.

— Так что вам надо, товарищ Полушкина? Ясли или работа?

— Так ведь без яслей не наработаешь: дочку девать некуда. Не вечно же мне Нонну-то Юрьевну беспокоить.

Ох, знать бы, куда смотрит да как поглядывает!

— Ну, а если мы дочку вашу в ясли определим, куда устроиться хотите? Специальность получить или так, разнорабочей?

— Как прикажете. Сторожить чего или в чистоте содержать.

— Ну, а желание-то у вас есть хоть какое-нибудь? Ведь есть же, наверно?

Вздохнула Харитина.

— Одно у меня желание: хлеба кусок зарабатывать. Нет у меня больше на мужа моего надежды, а детишек ведь одеть-обуть надо, прокормить, обучить надо да на ноги поставить. Да Олька мне руки повязала: не оставлять же ее ежедень на Нонну Юрьевну.

Улыбнулся начальник:

— Устроим вашу Ольку. Где тут заявление-то ваше? — И вдруг руками по столу захлопал, головы не поворачивая. Нашарил бумажку. — Это?

Встала Харитина:

— Господи, да ты, никак, слепой, милый человек?

— Что поделаешь, товарищ Полушкина, отказало мне зрение. Ну, а хлеб, как вы говорите, зарабатывать-то надо, правда?

— Учеба, поди, глазыньки-то твои съела?

— Не учеба — война. Сперва-то я еще видел маленько, а потом все хуже да хуже. И — до черноты. Так это ваше заявление?

Запрыгали у Харитины губы, запричитать ей хотелось, завыть по-бабьи. Но сдержалась. И руку начальнику направила, когда он резолюцию накладывал, по-прежнему уставя свои черные очки в противоположную стену кабинета.

А пришла домой — муженек с сынком, как святые, сидят, не шелохнутся.

— А лыко?

— Нету лыка. Липа голая стоит, ровно девушка. И цвет с нее осыпается.

Не закричала Харитина почему-то, хоть и ждал Егор этого. Вздохнула только:

— Обо мне слепой начальник больше заботы оказывает, чем родной мужик.

Обиделся Егор ужасно. Вскочил даже:

— Лучше бы лесу он заботу оказывал! Лучше бы видел он ограбиловку эту поголовную! Лучше б лыкодралов тех да за руку!..

Махнул рукой и ушел во двор. Покурить.

10

Мысль обмануть судьбу на лыковом поприще была у Егора последней вспышкой внутреннего протеста. И то ли оттого, что была она последняя и в запасе больше не имелось протестов, то ли просто потому, что крах ее больно уж был для него нагляден, Егор поставил жирный крест на всех работах разом. Перестал он верить в собственное везенье, в труд свой и в свои возможности, перестал биться и за себя и за семью и — догорал. Ходил на работу исправно, копал, что велели, зарывал, что приказывали, но делал уже все нехотя, вполсилы, стараясь теперь, чтоб и велели поменьше, и приказывали не ему. Смирно сидел себе где-либо подальше от начальства, курил, жмурился на солнце и ни о чем уже не хотел думать. Избегал дум, шарахался от них. А они лезли.

А они лезли. Мелкие думы были, извилистые, черные, как пиявки. Сосали они Егора, и не поспевал он смахивать одну, как впивалась другая, отбрасывал другую, так присасывалась третья, и Егор только и делал, что отбивался от них. И не было душе его покоя, а вместо покоя — незаметно, исподволь — росло что-то неуловимо смутное, то, что сам Егор определил одним словом: з а ч е м? Много было этих самых «з а ч е м?», и ни на одно из них Егор не знал ответа. А ответ нужен был, ответ этот совесть его требовала, ответ этот пиявки из него высасывали, и, чтоб хоть маленько забыться, чтоб хоть как-то приглушить шорох этот в сердце своем, Егор начал попивать. Потихонечку, чтоб супруга не ругалась, и по малости, потому что денег не было. Но если раньше он каждую копейку норовил в дом снести, как скворец какой, то теперь он и по рублевочке из дому потаскивал. Потаскивал и на троих соображал.

И враз друзья объявились: Черепок да Филя.

Черепок лысым сплошь был, как коленка, нос имел — огурец семенной, да два глаза — что две красные смородины. И еще рот, из которого мат лился и в который — водка. С хлястом она туда лилась, будто не глотка у Черепка была, а воронка для заправки. Без пробки и без донышка.

Филя так не умел. Филя стакан наотмашь относил и палец оттопыривал:

— Не для пьянства пьем, а только чтоб не отвыкнуть.

Филя над стаканом поговорить любил, и это всегда Черепка раздражало: он к заправке рвался. Но Филя ценил не результат, а процесс и потому старался пить последним, чтоб на пятки не наступали.

Выливал остаточки, бутылкой до тринадцатой капли над стаканом тряс и рассуждал:

— Что в ей находится, в данной жидкости? В данной жидкости — семь утопленниц: горе и радость, старость и младость, любовь да совет да восемнадцать лет. Все я вспоминаю, как тебя выпиваю.

А Егор пил молча. Жадно пил, давясь: торопился, чтоб пиявки повыскочили. Не затем, значит, чтоб вспомнить, а затем, чтоб забыть. У кого что болит, тот от того и лечится.

Помогало, но ненадолго. А поскольку продлить хотелось — деньги требовались. Шабашить научился: Черепок на это мастак был великий. То машину разгрузить подрядится, то старушке какой забор поправить, то еще что-нибудь удумает. Шустрый был, пока трезвый. А Егор злился:

— На работу бы тебя наладить с ускоком твоим, не на шабашку.

— Работа не убежит: ополоснемся — доделаем. А недоделаем, так и... — И пояснил, что следовало.

А Филя черту подводил:

— Машины должны работать. А люди — умственно отдыхать.

Однако случалось, что и сам Черепок не мог шабашки организовать. Тогда делали, что велено, ругались, ссорились, страдали, а пиявки так донимали Егора, что бросал он лопату и бежал домой, благо Харитина теперь судомойкой в столовке работала и засечь его не могла. Тянул Егор с места заветного рублевку, а то и две — и назад, к друзьям-товарищам.

— Что в ей находится, в данной жидкости?

Слезы там находились: как ни занята была Харитина домом, детьми да работой, а рублевки считала.

И понять не могла, куда утекли они, и на Кольку накинулась под горячую руку:

— Ах ты вор, хулиган ты бессовестный!..

И ну драть. За волосы, за уши — всяко, за что ни попадя. И сама ревет, и Олька ревет, и Колька ойкает. Егору бы смолчать тут, да больно глаз-то у сынка растерянный был. Больно уж в душу глядел глаз-то этот.

— Я деньги те взял, Тина.

Сказал и испугался. Прямо до онемения: чего врать дальше-то? Чего придумывать?

— За-ачем?

Слава богу, не сразу спросила, а как бы в два приема. И Егору сообразить время дала, и Кольку выпустила. Утер Колька нос, но не убежал. На отца глядел.

— Я это... Мужику одолжил знакомому. Надобно ему очень.

— Ему надобно, а нам? Нам-то, господи, на что хлеб-соль покупать? Нам-то жить на что, бедоносец ты чертов? Молчишь? А ну сей момент надевай шапку, к нему устремляйся да и стребуй!

Вот устрой бабу на работу, и враз она в дому командовать начнет. Это уж точно.

— Кому сказано, тому велено!

Надел Егор шапку, вышел за ворота. Куда податься? К свояку разве, к Федору Ипатовичу, в ноги бухнуться? Тогда, может, и даст. Но ведь запилит. Занудит ведь. Стерпеть разве? А ну как не даст, а потом Харитине же и расскажет? Ну, а еще куда податься? Ну, а еще некуда податься.

Размышляя так, Егор совершил по поселку круг и назад домой прибыл. Скинул шапку и бухнул с порога:

— Утек он, мужик этот. Уволился из нашего населения.

Набрала Харитина в грудь воздуху — аж грудь та выпятилась, как в те сладкие восемнадцать лет, про которые в песне поется да которые Филя в стаканчике ищет, на донышке. И понесла:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов...

Понурил Егор голову, слушал, на сына поглядывая. Но Колька не на него глядел и не на мать — на компас. Глядел на компас и не слышал ничего, потому что завтра должен был компас этот бесценный отдать за здорово живешь.

А всему виной Оля была. Не сестренка Ольга, а Оля Кузина, с ресницами и косичкой. Вовка ее часто за эту косичку дергал, а она смеялась. Сперва ударит, будто всерьез, а потом зубки покажет. Очень Кольке нравилось, как она смеется, но о том, чтоб за косу ее потрогать, об этом он даже помечтать не решался. Только смотрел издали. И глаза отводил, если она ненароком взглядывала.

Теперь они редко встречались: каникулы. Но все же встречались — на речке. Правда, она за кустами купалась с девчонками, но смех ее оттуда Колькиных ушей достигал. И тогда Кольке очень хотелось что-нибудь сделать: речку переплыть, щуку за хвост поймать или спасти кого-нибудь (лучше бы Олю, конечно) от верной гибели. Но речка была широкой, щука не попадалась и никто не тонул. И потому он только нырянием хвастался, но она на ныряния его внимания не обращала.

А вчера они с Вовкой на новое место купаться пошли, и Оля Кузина за ними увязалась. На берегу

первой платьишко скинула — и в воду. Вовка за ней навострился, а Колька в штанине запутался и на траву упал. Пока выпутывался, они уж в воде оказались. Хотел он за ними броситься, поглядел и не полез. Отошел в сторонку и сел на песок. И так муторно ему вдруг стало, так тошно, что ни вода его не манила, ни солнышко. Помрачнел мир, будто осенью. Вовка Олю эту Кузину плавать учил. И показывал, и поддерживал, и рассказывал, и кричал:

— Дура ты глупая! Чего ты сразу всем дрыгаешь? Давай подержу уж. Так и быть.

И Олька его слушалась, будто и впрямь дурой была. Знала ведь, что Колька куда как получше Вовки плавает и глубины не боится, а вот пожалуйста. У Вовки и училась да еще хихикала.

Так Колька в воду и не полез. Слушал смехи эти да Вовкины строгости, придумывал, что ответить, если Оля все же опомнится и в воду его позовет. Но Оля не опомнилась: бултыхалась, пока не замерзла, а потом выскочила, схватила платье и в кусты побежала трусики выжимать. А Вовка к нему подскочил. Шлепнулся на живот, глаза вытаращив:

— А я Ольку за титьки хватал!

Сколько там в Колькином теле крови было, неизвестно, а только вся она сейчас в лицо ему ударила. Аж под ложечкой защемило от бескровия:

— У ней же нету их...

— Ну и что? А я там, где будут!

Бога Колька молил, чтоб снег пошел, чтоб гроза вдруг ударила, чтоб ветер-ураганище. И помогло: ничего такого, правда, не произошло, но Оля в воду больше не полезла, как Вовка ни настаивал.

— Нет и нет. Мне мама не велит.

Много ли радости человеку надо? «Нет» сказала, и Колька сразу все позабыл: и купание, и смехи ее, и Вовкины нехорошие слова. Врал Вовка, ну конечно же, врал, вот и все! И Колька по берегу уже не молчком шагал, а рассказывал про жаркие страны. Про моря, на которых никогда не был, и про слонов, которых никогда не видал. Но так рассказывал, будто и был и видал, и Олины глазки еще шире раскрывались.

А Вовка очень сердился и поэтому шел сзади. И не след в след — вот еще, охота была! — а сбоку, прямо по кустам. Нарочно ломал их там и шумел тоже нарочно.

— Они знаешь какие умные, слоны-то? Они все-все понимают, да! Они и на работу по гудку, как люди, и на обед.

— Надо же! — Это так Олина мама удивляется, ну и Оля тоже. — А их едят?

Вздохнул Колька: ох, не о том ты спрашиваешь, что́ интересно. Подумал:

— Дорого.

— Вот бы меня кто слоном угостил! Ну ничего бы ему не пожалела за это, ну ничегошеньки!

Нет, даже за такую сказочную плату Колька не стал бы губить для нее слона. Нет, не для того слоны на свете живут, чтобы их девчонки ели. Даже если и очень красивые.

Это он подумал так. А сказал политично:

— У нас совсем этого достать невозможно. Ни за какие деньги.

— Слона нашел! — вдруг заорал Вовка. — Местного!

Из кустов выломился и щенка приволок. Худой щенок был, заброшенный, и ухо ему кто-то оборвал.

По морде то ли вода текла, то ли слезы, а языком он все норовил Вовкину руку лизнуть. Маленьким языком. Неумелым.

— Гадость какая паршивая! — Оля Кузина даже за Кольку спряталась. — Шелудивый он. Дохляк.

— Утопим, — сказал Вовка с удовольствием. — Может, он бешеный.

— А как же утопишь? — Оля из-за Кольки высунулась, и в глазах ее зажглось что-то остренькое. — В воду бросишь?

— Чай, выплывет, если так-то. Подержи-ка, я камень поищу.

Он щенка Кольке сунул, но Колька попятился и руки спрятал. И еще сказать что-то пытался, но слова вдруг провалились куда-то. И пока Вовка со щенком в руках на берегу камень искал, Колька все время слова вспоминал. Очень нужные слова, горячие очень — только не было их.

И камней тут тоже не было, как Вовка ни старался. Колька уж обрадовался тихонечко, уж сказал сдавленно: «Жалко...», как Вовка заорал радостно:

— Не надо мне никакой кирпичины, не надо! Я в воду залезу, а его ко дну прижму. Он враз наглотается! — И к берегу побежал.

А у Кольки опять горло перехватило, и опять слова провалились куда-то. И тогда он просто догнал Вовку и за трусы схватил у самой воды.

— Пусти! — Вовка рванулся, аж резинка его по заду щелкнула. — Я нашел, я и зачурался, вот! И что хочу теперь, то с ним и сделаю.

— Он нашел, он и зачурался, — подтвердила Оля Кузина. — И теперь что хочет, то с ним и сделает. И пусть уж лучше утопит: интересно.

— Герасим и Муму! — объявил Вовка и опять в воду полез.

— Отдай, — попросил Колька тихо. — Отдай мне его. Отдай. Я тебе что хочешь за него дам. Ну, что сам захочешь.

— А что у тебя есть-то? — пренебрежительно спросил Вовка, но, однако, остановился, не полез вглубь. — Ничего у вас теперь нету, кроме долгов: папка так говорит.

— Кроме долгов! — засмеялась Оля Кузина (а смех у нее — будто бубенчик проглотила). — Ничего у них нет, ничегошеньки, даже кабанчика!

— Отдай! — Колька вдруг дрожать стал, словно только-только из воды вылез, нанырявшись. — Ну, хочешь... Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? Насовсем отдам, не топи только животную. Жалко.

— Жалко ему! — засмеялась Оля Кузина. — Жалко у пчелки!..

Но Вовка не засмеялся, а поглядел.

— Насовсем? — спросил: недоверчив был, весь в Федора Ипатовича.

— Честное-железное, — подтвердил Колька. — Чтоб мне не купаться никогда.

Молчал Вовка. Соображал.

— Да на что ему компас-то твой? — спросила Оля Кузина. — Очень он ему нужен, компас-то! И всего-то он, поди, копеек восемьдесят пять стоит. А щенок знаешь сколько? Ого! И не укупишь, вот сколько.

— Я не за щенка, — пояснил Колька, а на сердце так скверно стало, что хоть заплачь. И компаса жалко, и щенка жалко, и себя почему-то тоже жалко, и еще чего-то жалко, а вот чего, никак Колька понять не

мог. И добавил: — Я за то только компас дам, чтоб не топил ты его никогда.

— Это конечно, — солидно сказал Вовка. — Компас за щенка мало.

И щенка на руке покачал, будто прикидывая.

— Я не насовсем, — вздохнул Колька. — Пусть у тебя живет, если хочешь. Я за то только, чтоб ты не топил.

— Ну, за это... — Вовка похмурился по-отцовски, повздыхал. — За это можно. Как считаешь, Олька?

— За это можно, — сказала.

И слов-то у нее своих не было — вот что особо горько. Его слова повторяла, как тот попугай говорящий, про которого Колька читал в книжке «Робинзон Крузо».

— Ладно, только пусть покуда у меня живет, — важно сказал Вовка. — А компас завтра принесешь. Олька свидетельница.

— Свидетельница я, — сказала Олька.

На том и порешили. Вовка щенка домой отволок, Олька к маме убежала, а Колька с компасом пошел прощаться. Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает.

На север она указывала.

11

Без кола да без двора — бобыль человек. Таких и Федор Ипатович не уважал, и Яков Прокопыч побаивался. Если уж и двора нет, так что есть, спрашивается? Одни фантазии.

А у Нонны Юрьевны и фантазий никаких не было. Ничего у нее не было, кроме книжек, пластинок да

девичьей тоски. И поэтому всем она чуточку завидовала, даже Харитине Полушкиной: у той Колька за столом щи наворачивал да Олька молочко потягивала. С таким прикладом и мужа-бедоносца стерпеть можно было, если бы был он, муж этот.

Никому в зависти этой — звонкой, как первый снежок, — никому Нонна Юрьевна не признавалась. Даже себе самой, потому что зависть эта в ней жила независимо от ее существа. Сама собой жила, сама соками наливалась, в жар кидала и по ночам мучила. И если бы кто-нибудь Нонне Юрьевне про все это в глаза сказал, она бы, наверно, с ходу окочурилась. Кондратий бы ее хватил от такого открытия. Ну, а хозяйка ее, у которой она комнату снимала, — востроносенькая, востроглазенькая да востроухонькая, — так та хозяйка все это, конечно, знала и обо всем этом, конечно, по всем углам давным-давно языком трясла:

— Подушки грызет, товарочки, сама в щелку видела, вот те крест. Кровь в ней играет.

А товарочки головами согласно кивали:

— Пора бы уж: перестоится девка. Мы-то первых своих когда рожали-то? Ай-ай, по бабьим срокам ей бы уж третьего в зыбке качать.

Вот с таких-то разговоров да шепотков Нонне Юрьевне и житье-то пошло не в житье, а в вытье. Никогда она для себя ничего добиваться не решалась и не пыталась, а тут вдруг понесло ее по всем начальникам. И откуда терпение взялось да настойчивость: не сдавалась. Все инстанции прошла, что положено, и добилась.

— Выделим вам отдельную комнату. Только, к сожалению, в аварийном фонде.

— В каком угодно!

Душа продрогшая о крыше не думает: ей стены нужны. Ей от глаз-сосулек укрыться нужно, и, если при этом сверху капает, пусть себе капает. Главное — стены есть. Есть где отплакаться.

Отплакалась Нонна Юрьевна с огромным удовольствием и большим облегчением, даже улыбаться начала. А как слезки высохли, так и сверху полило: дождь начался и без всяких препон комнаты ее собственной достиг. Все тазы и все кастрюли переполнил и породил в почти безмятежной голове Нонны Юрьевны мысли вполне практического направления.

Однако направление это, как выяснилось, в тупик вело:

— На ремонт все лимиты исчерпаны.

— Но у меня протекает потолок. Просто как душ, знаете.

Улыбнулись покровительственно:

— То не потолок протекает, то крыша. Потолок течь не может, он для другого приспособлен. А крыша, она, конечно, может. Все правильно, в будущем году ставим вас на очередь.

— Но послушайте, пожалуйста, там же совершенно невозможно жить. Там с потолка ручьем течет вода и...

— А мы вас насчет аварийного состояния предупреждали, у нас и документик имеется на этот счет. Так что сами вы во всем виноваты.

Вот так и перестал человек улыбаться: не до улыбок тут, когда в комнате — собственной, выстраданной, выметанной и выплаканной! — в комнате этой опята растут. Хоть соли их и грузи бочками в прекрасный город Ленинград. Маме.

Но повезло. Правда, втайне Нонна Юрьевна считала себя счастливой и поэтому даже не удивилась везению. Просто встретился ей у этого лишенного лимитов тупика некий очень приветливый гражданин. Лысый и великодушный, как древний римлянин.

— Эка невидаль, что текет. Покроем!

И покрыл. Так покрыл, что хоть святых выноси. Но и к этому способу общения Нонна Юрьевна как-то уж притерпелась. И даже научилась не краснеть.

— У меня бригада — ух, работает за двух, жрет за троих, а пьет, сколько поднесут. Так что готовь бутылку для заключения трудового соглашения.

Спиралью от древнего римлянина несло — комары замертво падали. Оно, конечно, правильно: человечество по спирали развивается, но эта, конкретная, такой пахучей была, что Нонна Юрьевна на всякий случай переспросила:

— Какую бутылку, говорите?

— Натуральную-минеральную, раскудри ее в колдобину и распудри в порошок!..

Пока Нонна Юрьевна за натуральной бегала, гражданин древний римлянин на носках к пустырю припустил:

— Есть шабашка, мужики, раскудрить вашу, распудрить. Дуру какую-то бог нанес: хата у нее текет. Дык мы ее пол-литрами покроем, родимую. По-фронтовому, в три наката. Чтоб и не капала, зараза, на хорошего человека!..

День тот в смысле просветления душ с утра не задался, и мужики были злыми. Пока Черепок насчет шабашки колбасился, землю на пустыре для какого-то

туманного назначения перелопачивали и цапались:

— Ты стенку-то оглаживай. Оглаживай, говорят тебе!

— А чего ее оглаживать? Не баба.

— А того, что осыплется, вот чего!

— Ну и хрен с ней, с осыпленной. Ты бы, Егор, заместо указаний в смыслах оглаживания данной канавы домой бы смотался и супругу бы законную огладил бы на пару рубликов. И природа бы нам за это улыбнулась.

Промолчал Егор. Хмуро стенку свою оглаживал, землю со дна выгребал. Но хоть и оглаживал по привычке и выгребал по аккуратности, а той легкости, запоя того рабочего, что двигал им когда-то мимо перекуров да переболтов, восторга того неистового перед делом рук своих он уже не испытывал. Давно не испытывал и делал ровнехонько настолько, чтоб наряд закрыли, даже если и с руганью.

А молчал он потому, что после того случая с враньем про неизвестного мужика, который утек из местного населения с якобы одолженными ему рублями, после Харитининых слез да Колькиных глаз зарекся он копеечку из дому брать. Сам себе слово такое дал и даже перекрестился тайком, хотя в бога не веровал. И пока держался. Держался за слово свое да за тайное крестное знамение, как за последний спасательный круг.

Ну, а тут Черепок прибежал и вестью радостной огорошил. Насчет крыши, что над дурой девкой так вовремя протекла.

— Шабаш, мужики!

Враз пошабашили. Обрадовались, лопаты в канаву покидали и к речке ударились: умыться. А умыв-

шись, подались заключать трудовое соглашение, заранее ощущая в животах волнующую пустоту.

Издали еще Егор пятистеночку эту угадал: половина шифером крыта, половина травой заросла и их, стало быть, теперь касалась. Сруб глазом окинул: гнилью, однако, еще не тронуло сруб-то, и при умелом топоре да добром взгляде обновить домишко этот труда особого не составляло. Крышу перекрыть да полы перестелить, и вся недолга.

Это он думал так, плотницким глазом работу прикидывая. Думал да помалкивал, потому что это не просто работа была, а ш а б а ш к а, и говорить об истинном размере труда тут не приходилось. Тут полагалось раздувать любое хозяйское упущение до масштабов бедствия, пугать полагалось и стричь с испугу этого дикую шабашскую деньгу. Не учитываемый ни государством, ни бухгалтерией, ни фининспекцией, ни даже женами мужской подспудный доход.

А еще он подумал, что надо бы крыльцо поправить и косяки заменить. И навес над крыльцом надо бы уделать по-людски и... И тут дверь кособокая распахнулась, и Черепок сказал радостно:

— Бригада-ух! Здравствуй, хозяйка, кажи неудобства, раскудрить их...

— Здравствуйте, — очень приветливо сказала хозяйка. — Проходите, пожалуйста.

Все и прошли, а Егор на крыльце застрял. В полном онемении: Нонна Юрьевна. Это к ней тогда Колька прибежал — к ней, не к родимой матери. Пластинки слушал: голос, говорит, как у слона...

Затоптался Егор — и в хату не шел, и бежать не решался. И совестно ему было, что в такой компании в дом ее вваливается, да с таким делом, и думалось

где-то, что хорошо еще, он в плотницкой работе соображение имеет.

— Егор Савельич, что же вы не проходите?

Узнала, значит. Вздохнул Егор, сдернул с головы кепку и шагнул в прогнившие сени.

Натуральную трескали. Под какого-то малька в томате, что ныне важно именовался частиком. Филя палец оттопыривал:

— Сколько их, земных неудобств или, сказать, неудовольствий, кто счесть может? Мы можем, рабочие люди. Потому как всякое неудобство и неудовольствие жизни через наши руки проходит. Ну, а что руки пощупали, того и голова не забудет. Так, что ли, молодая хозяюшка? Хе-хе. Так что выпьем, граждане-друзья-товарищи, за наши рабочие руки. За поильцев наших и частично кормильцев.

Черепок молча пил. Обрушивал стакан в самый зев, крякал оглушительно и рукавом утирался. Доволен был. Очень он был доволен: редкая шабашка попалась — дура дурой, видать.

А Егор пить не стал.

— Благодарствую на угощении. — И кружку отодвинул.

— Что же вы так категорически отказываетесь, Егор Савельич?

— Рано, — сказал.

И на Филю — тот уже второй раз мизинец оттопыривать примеривался, — на Филю в упор посмотрел. И добавил:

— За руки рабочие выпить — это мы можем. Это с полным нашим уважением. Только где они, руки эти? Может, мои это руки? Нет, не мои. Твои, может, или Черепка? Нет, не ваши. Шабашники мы, а не

рабочие. Шабашники. И тут не радоваться надо вовсе, а слезой горючей умываться. Слезой умываться от стыда и позора.

Нонна Юрьевна так смотрела, что глаза у нее стали аккурат в очковины размером. Филя лоб хмурил, соображая. А Черепок... Ну, Черепок, он Черепок и есть: второй стакашек в прорву свою вылил и рукавчиком закусил.

— Осуждаешь, значит? — спросил наконец Филя и рассмеялся, но не от веселья, а от несогласия. — Вот, товарищ учительница, вот, товарищ представитель передовой нашей интеллигенции, какая, значит, у нас здоровая самокритика. И действует она ядовито. До первого стаканчика. А после данного стаканчика самокритику мы забываем, и начинается у нас одна сплошная критика. Что скажешь, бывший рабочий человек Егор Полушкин?

Испугалась вдруг Нонна Юрьевна. Чего испугалась, не понял Егор, а только увидел: испугалась. И заулыбалась торопливо, и глазками заморгала, и захлопотала, себя даже маленько роняя:

— Закусывайте, товарищи, закусывайте. Наливайте, пожалуйста, наливайте. Егор Савельич, очень я вас прошу, выпейте рюмочку, пожалуйста.

Посмотрел на нее Егор. И столько тоски в глазах его было, столько боли и горечи, что у Нонны Юрьевны аж в горле что-то булькнуло. Как у Черепка после стаканчиков.

— Выпить мне очень даже хочется, Нонна Юрьевна, учителка дорогая. И пью я теперь, когда случай выйдет. И если б вдруг тыщу рублей нашел — все бы, наверно, враз и пропил. Пока бы не помер, все бы пил и пил и других бы угощал. Пейте, говорил бы,

гости дорогие, пока совесть ваша в вине не захлебнется.

— Ну дык найди, — сказал вдруг Черепок. — Найди, раскудри ее, эту тыщу.

Глянул Егор на Нонну Юрьевну, глаз ее перепуганный уловил, руки задрожавшие и все понял. Понял и, взяв кружечку отодвинутую, сказал:

— Позвольте за здоровье ваше, Нонна Юрьевна. И за счастье тоже, конечно.

И выпил. И мальком этим, что по несуразности в томате плавал вместо заводи какой-нибудь, закусил.

И кружку поставил, как точку.

Потом пятистеночек осматривали. Объект, так сказать, приложения сил, родник будущих доходов.

Тут роли были распределены заранее. Черепку полагалось пугать, Филе — зубы заговаривать, а Егору — делом заниматься. Прикидывать, во что все это может обернуться, и умножать на два. И уж после этого умножения Черепок черту подводил. Во сколько, значит, влетит хозяину означенная работа.

Так и здесь предполагалось: Филя уж речи готовил потуманистей, Черепок уж заранее угрюмился, за столом еще.

— Ну, хозяюшка, спасибо на угощении. Выкладывай теперь свои неудобства жизни.

Ходили, судили, рядили, пугали— Егор помалкивал. Все вроде бы по плану шло, все как надо, а уж о чем думал Егор, неудобства эти оглядывая, о том никто не догадывался. Ни Черепок, ни Филя, ни Нонна Юрьевна.

А думал он, во что это все девчоночке встанет. И о том еще думал, что хозяйства у нее — одна раскладушка, на которой когда-то сын его обиженный ночевал. И потому, когда сложил он все, что работы

требовало, когда материал необходимый прикинул, то не умножил на два, а разделил:

— Полста рублей.

— Что? — Черепок даже раскудриться позабыл от удивления.

— Упился, видать, — сказал Филя и на всякий случай похихикал: — Невозможное произнес число.

— Пятьдесят рублей со всем материалом и со всей нашей работой, — строго повторил Егор. — Меньше не уложимся, извиняемся, конечно...

— Да что вы, Егор Савельич...

— Ах, раскудри твою...

— Замолчь! — крикнул Егор. — Не смей тут выражения говорить, в дому этом.

— А на хрена мне за полсотни да еще вместе с материалом?

— И мне, — сказал Филя. — Отказываемся по несуразности.

— Да как же, товарищи милые! — перепугалась Нонна Юрьевна. — Что же тогда...

— Тогда в тридцатку все обойдется, — хмуро сказал Егор. — И еще я вам, Нонна Юрьевна, полки сделаю. Чтоб книжки на полу не лежали.

И пошел, чтоб мата черепковского не слышать. Так и ушел, не оглядываясь. На пустырь тот вернулся и снова взялся за лопату. Канаву оглаживать.

Били его на том пустыре. Сперва в канаве, а потом наверх выволокли и там тоже били.

А Егор особо и не отбивался: надо же мужикам злобу свою и обиду на ком-то выместить. Так что он, Егор Полушкин, бывший плотник — золотые руки, лучше других, что ли?

12

Федор Ипатович со всеми долгами расплатился, все в ажур привел, все справочки раздобыл, какие только требовались. Папку с тесемками в культтоварах купил, сложил туда бумажки и в область подался. Новому лесничему отчитываться.

В копеечку домик-то въехал. В круглую копеечку. И хоть копеечку эту он не у собственных детей изо рта вытянул, обидно было Федору Ипатовичу. Ох, как обидно! До суровости.

Вот почему за всю дорогу Федор Ипатович и рта не раскрыл. Думы свои свинцовые кантовал с боку на бок и сочинял разные обидные слова. Не ругательные — их до него тьмы тем насочиняли, — а особо обидные. Сверху чтоб вроде обыкновенные, а внутри чтоб отрава. Чтоб мучился потом лесничий этот, язви его, две недели подряд, а привлечь бы не мог. Никак.

Трудная это была проблема. И Федор Ипатович на соседей-попутчиков не растрачивался. Не отвлекался пустыми разговорами.

Думал он о встрече с новым лесничим Юрием Петровичем Чуваловым. Думал и боялся этой встречи, так как ничего не знал о нем, о новом лесничем.

Жизнь Юрия Петровича сложилась хоть и самостоятельно, но не очень счастливо. Отец пережил победу ровнехонько на один год и в сорок шестом отправился туда, где молчаливые батальоны ждали своего командира. А вскоре умерла и мать, измученная ленинградской блокадой и тысячедневным ожиданием

фронтовых писем. Умерла тихо, как и жила. Умерла, кормя его перед сном, а он и не знал, что ее уж нет, и проворно сосал остывающую грудь.

Об этом ему рассказала соседка много лет спустя. А тогда... Тогда она просто перенесла его из вымершей комнаты в свою, хоть и пустую, хоть и вдовью, но живую, и целых шестнадцать лет он считал матерью только ее. А когда он, загодя приготовив справки, собрался торжественно прибыть в милицию за самым первым в своей жизни паспортом и попросил у нее метрику, она почему-то надолго вдруг замолчала, старательно обтирая худыми, жесткими пальцами тонкие, бескровные губы.

— Ты что, мам?

— Сынок... — Она вздохнула, достала из скрипучего шкафчика старую тетрадку с пожелтевшими солдатскими треугольниками, похоронками, счетами на электричество и метриками вперемежку, отыскала нужную бумажку, но не отдала. — Сядь, сынок. Сядь.

Он послушно сел, не понимая, что происходит с ней, но чувствуя, что что-то происходит. И опять спросил, улыбнувшись ласково и неуверенно:

— Ты что, мам?

А она все еще молчала и глядела на него без улыбки. А потом сказала:

— Ты, Юра, мне сыночком всегда был и всегда будешь, пока жива я. Пока жива, Юра. Только в свидетельстве этом, в метрике, значит, там другие записаны. И мама другая и папка. И ты паспорт, сынок, на ихнюю фамилию получай, ладно? Она очень даже хорошая фамилия, и люди они были очень даже хорошие. Очень даже. И не Семенов ты теперь будешь, а Чувалов. Юра Чувалов, сыночек мой...

Так Юра в шестнадцать лет и стал Чуваловым, но эту малограмотную, тихую солдатку по-прежнему и называл и считал мамой. Сначала привычно и чуть небрежно, потом с великим почтением и великой любовью. После института он много разъезжал, работал в Киргизии и на Алтае, в Сибири и Заволжье, но где бы ни был и кем бы ни работал, каждое воскресенье писал письмо:

Здравствуй, моя мамочка!

Писал очень неторопливо, очень старательно и очень большими буквами. Чтобы сама прочитала.

И она тотчас же отвечала ему, аккуратно сообщая о своем здоровье (в письмах к нему она никогда ничем не болела, ни разу) и обо всем небогатом запасе новостей. И только последнее время все чаще и чаще стала осторожно, чтоб — упаси бог! — не обидеть и не расстроить его, намекать на безрадостное житье и одинокую свою старость:

У Марфы Григорьевны уж внучат двое, и жизнь у нее теперь звонкая...

Но Юрий Петрович все отшучивался. Пока почему-то отшучивался и разговоры переводил все больше на здоровье. Береги, дескать, себя, мамочка, а там посмотрим, у кого она звончее сложится, эта самая жизнь. Поживем, как говорится, увидим, вот такие дела. Целую крепко.

Федор Ипатович ничего про это, конечно, не знал. Сидел напротив, глядел на хлюста этого столичного из-под бровей, как из двух дотов, и ждал. Ждал, что скажет, папку с бумажками пролистав.

И еще искоса — чуть-чуть — вокруг поглядывал: как живет. Поскольку новый лесничий принимал его на сей раз не в служебном кабинете, а в гостиничном номере. И Федор Ипатович все время думал, к чему бы эта домашность. Может, ждет чего от него-то, от Федора Ипатовича, а? С глазу на глаз.

Ой, нельзя тут ошибиться было, ой, нельзя! И поэтому Федор Ипатович особо напряженно первого вопроса ждал. Как прозвучит он, какой музыкой? То ли в барабан ударит, то ли скрипочкой по сердцу разольется — все в первом вопросе заключалось. И Федор Ипатович аж подобрался весь, аж мускулы у него свело от этого ожидания. И уши сами собой выросли.

— Ну, а где же все-таки разрешение на порубку строевого леса в охранной зоне?

Вон какая музыка пошла. Из милицейского, значит, свистка. Понятно. Федор Ипатович, тоску спрятав, перегнулся через стол, попридержал дыхание для вежливости — аж в кипяток его сунуло, ей-богу, в кипяток! — и пальцем потыкал:

— А вот.

— Это справка об оплате. Справка. А я говорю о разрешении на порубку.

— Так прежний-то лесничий уехал уже.

— Так разрешение вы же не вчера брать должны были, а год назад, когда строились. Не так ли?

Засопел Федор Ипатович, заскучал. Замаялся.

— Мы с ним, с тем лесничим-то, душа в душу жили. Попросту, как говорится. Можно — значит, можно, а нельзя — так уж и нельзя. И без бумажек.

— Удобно.

— Ну, за что же вы мне не верите, Юрий Петрович? Я же все бумажечки, как вы велели...

— Хорошо, проверим ваши бумажечки. Можете возвращаться на участок.

— А папочка моя?

— А папочка ваша у меня останется, товарищ Бурьянов. Всего доброго.

— Как так у вас?

— Не беспокойтесь, не пропадут ваши справки. Счастливого пути.

С тем Федор Ипатович и отбыл, со счастливым, значит, путем. И весь обратный путь этот тоже молчал как рыба, но не потому уже, что обидные слова придумывал, а со страху. То потел он со страху этого, то дрожать начинал и, уж только к поселку подъезжая, все свои силы мобилизовал и с огромным трудом привел себя в соответствие. В вид солидный и задумчивый.

А под всем этим задумчиво-солидным видом одна мысль в припадке билась: куда лесничий папочку его со всеми справочками понесет? А ну как в милицию, а? Сгорит ведь тогда он, Федор Ипатович-то, сгорит. Синим пламенем сгорит на глазах у друзей-приятелей, а те и пальцем не шевельнут, чтоб его из пламени этого вытащить. Точно знал, что не шевельнут. По себе знал.

Но терзался Федор Ипатович напрасно, потому что новый лесничий папку эту никуда не собирался передавать. Просто неприятен ему был этот угрюмый страх, эта расплата задним числом и этот человек тоже. И никак он не мог отказать себе в удовольствии оставить Федора Ипатовича со страхом наедине. Пока без выводов.

Только один вывод для себя сделал: посмотреть на все своими глазами. Пора уж было глянуть и на этот уголок своих владений, но нагрянуть туда он решил неожиданно и поэтому ничего Федору Ипатовичу не сказал. Отложил эту папку, очень крупными буквами написал матери внеочередное — когда тут вернешься, неизвестно — письмо и стал собираться в дорогу. А когда открыл чемодан, в который — так уж случилось — почти не заглядывал с момента отъезда из Ленинграда, то на самом дне обнаружил вдруг маленькую посылочку. И со стыдом вспомнил, что посылочку эту передали ему в Ленинграде через третьи руки с просьбой при случае вручить ее учительнице в далеком поселке. В том самом, куда только-только собрался поехать.

Повертел Юрий Петрович эту посылочку, подумал, что растяпа он и эгоист при этом, и положил ее в рюкзак. На сей раз на самый верх, чтобы вручить по прибытии, еще до того, как отправится на Черное озеро. А потом пошел в читальный зал и долго копался там в старых книгах.

А Нонне Юрьевне в эту ночь никакие сны так и не приснились. Вот оно как в жизни бывает. Без знамений и чудес.

13

Теперь у Егора опять пошла быстрая полоса. Все на бегу делал, что велено было, как во времена Якова Прокопыча. А закончив этот торопливый, без перекуров и перерывов обязательный труд, умывался, причесывался, рубаху одергивал и шел к аварийной пятистеночке Нонны Юрьевны. Ходко шел, а вроде бы

и не семенил, торопился, а себя не ронял. Мастером шел. Особой походкой: ее ни с чем не спутаешь.

Правда, мастеровитость эта к нему недавно вернулась. А поначалу, синяков еще не растеряв, что Филя с Черепком ему наставили, затосковал Егор, замаялся. Ночь целую не спал — не от боли, нет, с болью-то он давно договорился на одном топчане спать — ночь не спал, вздыхал да ворочался, сообразив, что обманул он робкую Нонну Юрьевну. Не выходило там в тридцаточку, как ни кумекал Егор, как ни раскидывал. Не взял он того в соображение, что не было у Нонны Юрьевны во дворе ни доски, ни бревнышка и весь лес, значит, предстояло добывать на стороне. И пахло тут совсем не тридцаточкой.

Однако Нонну Юрьевну бессонницей своей он беспокоить не стал: его промах — его и беспокойство. Побегал, поглядел, посуетился, со сторожем лесосклада о ревматизме покалякал, покурил с ним...

Вот кабы для себя он лес добывал этот, то на том бы ревматизме все бы и закончилось. Не смогло бы Егорово горло никаких других слов произнести, просто физически не смогло бы; сдавило бы его, и конец всякому разговору. Скорее он бы хату свою собственной кожей покрыл, чтоб не текла, проклятая, чем о лесе бы заикнулся, скорее столбом бы в углу перекошенном замер. Но в аварийной квартире Нонны Юрьевны заместо столба замереть было невозможно, и потому Егор, языком костенея, брякнул на том перекуре:

— Тесу бы разжиться. А?..

«А» это таким испуганным было, что аж пригнулось, из Егоровой глотки выскочив. Но сторож ничего такого не заметил, поскольку размышлял напрямик:

— Сколько?

Никогда в жизни Егор так быстро не соображал. Много сказать — напугается и не даст. Мало сказать — себя наказать. Так как же тут говорить-то без опыта?

— Дюжину... — Глянул, как бровью мужик тот шевельнет, и добавил быстренько: — И еще пять штук.

— Семнадцать, значит, — сказал сторож. — Округляем до двадцати и делим напополам. Получается две пол-литры.

Совершив эту математическую операцию, он уморился и присел на бревнышко. А Егор пока прикидывал:

— Ага. Ясно-понятно нам. В каком, значит, виде?

— Одну — натурально, другую — денежно. Про запас.

— Ага! — сказал Егор. — А как тес вынесу?

— Считай от угла четвертый столб. Насчитал? От него обратно к углу — третья доска. Висит на одном гвозде. Не, не репетируй: начальство ходит. Ночью. Машину оставь за два квартала.

— Ага! — сказал Егор: упоминание о машине почему-то вселило в него уверенность, что с ним договариваются всерьез. — За три оставлю.

— Тогда гони пол-литру. И денежное способие на вторую.

— Счас, — сказал Егор. — Ясно-понятно нам. Счас сбегаем.

И выбежал со склада очень радостно. А когда пробежал квартальчик, когда запыхался, тогда и радоваться перестал. И даже остановился.

В карманах-то его который уж год авось с небосем только и водились. И еще махорка. А больше ничего:

все свои деньги он всегда в кулаке носил. Либо получку — до дому, либо пай в тройственном согласии — из дома. А тут целых восемь рублей требовались. Восемь рубликов, как за пуд лыка.

Приуныл Егор сильно. С Нонны Юрьевны стребовать — в тридцаточку не уложимся. У знакомых занять — так не даст же никто. На земле найти — так не отыщутся. Повздыхал Егор, покручинился и вдруг решительно зашагал прямо к собственному дому.

То все в субботу происходило, и Харитина поэтому шуровала по хозяйству. В избе пар — не проглянешь: стирка, понятное дело. И сама над корытом — потная, красная, взлохмаченная — и поет. Мурлычет себе что-то, но не «тягры» свои, и потому Егор прямо с порога и брякнул:

— Давай восемь рублей, Тина. Тес приторговал я для Нонны Юрьевны.

Знал, что́ будет сейчас, очень точно знал. Вмиг глаза у нее высохнут, выпрямится она, пену с рук смахнет, грудь свою надует — и на четыре квартала в любую сторону. И он уж подготовился к воплям этим, уже стерпеть все собирался, но не отступать, а в перерывах, когда она воздух для новой порции заглатывать начнет, втолковывать ей, кто такая Нонна Юрьевна и как нужно помочь ей во что бы то ни встало. И так он был ко всему этому готов, так на одно и устремлен и заряжен, что поначалу даже ничего и не понял. Не сообразил.

— Тес-то добрый ли?

— Чего?

— Гнили бы не подсунули: обманщики кругом.

— Чего?

Руки о подол вытерла — большие руки-то, тяже-

лые, синими жилами опутанные, — руки вытерла и из-за Тихвинской божьей матери (маменьки ее благословение) коробку из-под конфет достала.

— Хватит восьми-то?

— Столковались так.

— Либо машину, либо подводу каку нанимать придется.

И еще трояк приложила к тем-то, к восьми. И вздохнула. И опять к корыту вернулась. Посмотрел Егор на деньги, враз пустоту — волнующую, знакомую — в животе ощутив. Посмотрел, сглотнул слюну и взял ровно восемь рублей:

— Допру. — И вышел.

А она и не обернулась: только опять запела что-то. Чуть только погромче вроде бы. Вот почему, передавая сторожу бутылку и четыре рубля чистыми, Егор посуровистей свел выгоревшие свои брови и спросил построже:

— Не обманешь?

— А кого? — очень лениво спросил сторож. — Бухгалтера нет, директора нет, инспектора тоже нет. Так кого обманывать? Себя? Невыгодно. Тебя, что ли? Обратно невыгодно: второй раз не придешь.

— Ладно-хорошо. Ночью, стало быть, третья доска. Не стрельни с дремоты-то.

— Она у меня незаряженная.

Весь вечер Егор и двух минут на месте усидеть не мог: вскакивал, поспешал куда-то, хотя поспешать было еще не время. Он был чудовищно горд своей инициативой и деловой хваткой, но где-то рядом с гордостью шевелилась большая черная пиявка. Поднимала тупую голову, нацеливая присоску в самое больное, и тогда Егор вдруг вскакивал и метался, и, чем

меньше оставалось времени до воровского часа, тем все чаще поднимала пиявка эта свою голову и тем все быстрее и суматошнее метался Егор.

Заплатить бы ему за этот тес не пол-литрой, а сколь там положено. Лучше бы он сапоги свои последние загнал и расплатился бы честь по чести, чем вот эта вот пиявка, что ворочалась где-то возле самого сердца. Но выписать тес этот через контору, оплатив его по государственной цене, было немыслимо не только потому, что никто не купил бы у Егора его заветных сапог, а потому лишь, что контора эта имела право продавать частным гражданам только «неликвиды» — продукцию загадочную и по содержанию и по форме, из которой при самой великой хитрости можно было бы выстроить разве что малогабаритный нужник. Вот почему все изыскания заднего Егорова ума — а он им был особо крепок, — все эти изыскания носили, так сказать, характер отвлеченно-теоретический. А практический выход тут был один: через третью доску обратно к углу.

Но, несмотря на пытки отвлеченной теорией, а может, как раз-то и благодаря им, Егор Кольку в ночной тот разбой не взял, ни единым словом об этом деле не обмолвился и Харитине своей велел молчать. Впрочем, это она и без него сообразила и еще загодя сказала:

— Кольку не пущу.

— Верно, Тина, правильно. Чистоглазик парень-то... — У Егора горло вдруг перехватило, и кончил он почти что шепотом: — Ну, и слава богу!

Нельзя сказать, что рос Егор ухарем, но особо ничего не боялся. И на медведя хаживал, и тонул, и спасал, и пьяных разнимал, и собак успокаивал.

Слово «надо» для него всегда было — что было не удивительно, а вот что до сих пор сохранилось! — всегда было самым главным словом, и, когда звучало оно — в нем ли самом или со стороны, — тогда и страх, и слабость, и все его немощи отступали на седьмой план. Тогда он шел и делал то, что надо. Без страха и без суеты.

Здесь тоже было «надо», звучало в полную силу, а страх почему-то не проходил. И чем ближе подползали стрелки ходиков к намеченному сроку, тем сильнее колотился в нем этот странный, безадресный, обезоруживающий его страх. И чтобы унять его, чтобы заставить самого себя шагнуть за порог в темную ночь, Егор, дождавшись, когда Харитина из горницы вышла, трижды перекрестился вдруг на Тихвинскую божью матерь. Неумело, торопливо и нескладно. А прошептал уж совсем несуразное:

— Господи, не ворую ведь, а краду только. Ей-богу, украду разик, а больше никогда не буду. Честное слово, крест святой. Разреши уж, царица небесная, не расстраивайся... Для хорошего человека беру.

Тут Харитину вынесло, и молитву пришлось прервать. И поэтому Егор пошел на разбойное свое дело со смущенной душой.

Двенадцать часов выбрал, полночь, самое воровское время. Тишина в поселке стояла, только псы перебрехивались. И ни людей, ни скотов, будто вымерли все.

Шесть раз он мимо той доски прошел. Шесть раз сердце в нем обрывалось: нет, не со страху, не потому, что попасться боялся, а потому, что преступал. Через черту преступал, и то смятение, которое испытывала сейчас душа его, было во сто крат горше любых наказаний.

А как доски со склада за восемь улиц к Нонне Юрьевне волок, об этом вроде забыл потом. Силился вспомнить и не мог. И понять не мог, как же это он один двадцать дюймовых досок в шесть метров длиной допереть умудрился и не надорвался при этом. И сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно, много: враз больше трех не упрешь. Пробовал.

Только помнил, что на складе ни души не было и через ту третью доску свободно можно было не двадцать — двести штук выволочь. Но он-то ровно двадцать взял, как договаривались. Отволок, свалил у Нонны Юрьевны на задах — место это он еще загодя доглядел — и домой пошел. Коленками, как говорится, назад.

А наутро — воскресное утрецо было, ласковое! — наутро надел Егор чистую рубаху, взял личный топор и вместе с Колькой отправился к Нонне Юрьевне. И так ему было радостно, так торжественно, что он останавливал каждого встречного и маленько калякал. И хоть никому не было дела до забот Егора Полушкина, Егор сам на свои заботы любой разговор поворачивал:

— За грибками ты, значит, навострился! Ну, везет, стало быть, отдыхай. А у меня дела. Работа, понимаешь ли, серьезный вопрос.

А Колька отмалчивался, только вздыхал. Он вообще примолк что-то последнее время. После того как выменял компас на собачью жизнь. Но Егор молчаливости этой оценить никак не мог, так как весь был поглощен предстоящей работой. Не шабашкой, а плотницкой. Для души. Потому-то он и Кольку с собою взял, а вот на шабашки не брал никогда. Там чему научишь-то? Деньгу зашибать? А тут настоящее дело

ожидалось, и учение тоже должно было быть настоящим.

— В работе, сынок, без суеты старайся. И делай как душа велит: душа меру знает.

— А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы.

— Чего есть?

— Рефлексы. Ну, это — когда чего хочется, так слюнки текут.

— Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот когда не хочется, тогда чего текет? Тогда, сынок, слезы горючие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а велят. И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. И жгут. Потому жгут, что душа плачет. Стало быть, она все-таки есть, но, видать, у каждого своя. И потому каждый должен уметь ее слушать. Чего она, значит, ему подсказывает.

Говорили они неспешно, и слова обдумывая, и дела, поскольку беседы вели за работой. Колька держал где требовалось, пилил что отмерено и гвозди приловчился с двух ударов вгонять по самую шляпку. Первый удар — аккуратно, чтоб направить только, а второй — с маху, так, чтоб шляпка утопла. Споро работали: крышу перекрыли, крыльцо поставили, пол перебрали. А из остатков Егор начал сооружать полки, чтоб книжки на полу не валялись. Особо когда ту обнаружил, про индейцев.

Колька под рукой у него ходил. Помогал чем мог, сам учился и очень старался. Но раз в день непременно исчезал куда-то часа на два, а возвращался обязательно хмурый. Егор все приглядывался, хмурость эту замечая, но не расспрашивал: парень был самостоя-

тельный и сам решал, что ему рассказывать, а о чем молчать. И потому старался о другом говорить:

— Главное дело, сынок, чтоб у тебя к работе всегда приятность была. Чтоб петь тебе хотелось, когда ты труд свой совершаешь. Потому тут хитрость такая: сколько радости пропето, столько обратно и вернется. И тогда все, кто работу твою увидит, тоже петь захотят.

— Если бы так было, все бы только и голосили.

Сердитым Колька в то утро с исчезновения-то своего вернулся. И говорил сердито.

— Нет, сынок, не скажи. Радостной ложкой и пустые щи хлебать весело.

— Если с мясом щи-то, так я и без ложки не заплачу.

— Есть, Коля, для живота веселье, а есть — для души.

— Обратно для души! — рассердился вдруг Колька. — Какой тут может быть серьезный разговор, когда ты все про дух какой-то говоришь, про религию!

Нонна Юрьевна — а они в ее комнате доски-то для полок строгали — в разговор не встревала. Но слушала с вниманием, и внимание это Егор ценил больше разговора. Потому при этих словах он на нее глянул и, рубанок отложив, за махоркой полез. А Нонна Юрьевна, взгляд его растерянный поймав, спросила вдруг:

— А может, не про религию, Коля, а про веру?

— Про какую еще веру?

— Верно-правильно, Нонна Юрьевна, — сказал Егор. — Очень даже человек верить должен, что труд его на радость людям производится. А если так он, за-ради хлебушка, если сегодня, скажем, рой, а завтра зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости.

И ты уж не на то смотришь, чтоб сделать, как оно получше-то, как посовестливее, а на солнышко. Где висит да скоро ли спрячется. Скоро ль каторге этой да стыду твоему смертному отпущение настанет. Вот тут-то о душе-то и вспомнишь. Обязательно даже вспомнишь, если не бессовестный ты шабашник, если жив в тебе еще настоящий рабочий человек. Мастер жив уважаемый. Мастер!..

Голос его вдруг задрожал, Егор поперхнулся, в махорку свою уставился. А когда цигарку сворачивать стал, то пальцы у него сразу не послушались: махорка с листика ссыпалась, и листик тот никак сворачиваться не хотел.

— Вы здесь курите, Егор Савельич, — сказала Нонна Юрьевна. — Курите здесь, пожалуйста.

Улыбнулся Егор ей. Аж губы подпрыгнули.

— Да уж, стало быть, так, Нонна Юрьевна. Стало быть, так, раз оно не этак.

А Колька молчал все время. Молчал, смотрел сердито, а потом спросил неожиданно:

— А сколько раз в день щенков кормить надо, Нонна Юрьевна?

— Щенков? — растерялась Нонна Юрьевна от этого вопроса. — Каких щенков?

— Собачьих, — пояснил Колька.

— Н-не знаю, — призналась она. — Наверно...

И тут в дверь постучали. Не кулаком — костяшками, по-городскому. И Нонне Юрьевне от этого стука еще раз растеряться пришлось:

— Да, да! Кто там? Войдите!

И вошел Юрий Петрович Чувалов. Новый лесничий.

От автора

Вот тут бы и точку поставить: читатель досочинит. Непременно досочинит счастливый конец и навсегда отложит эту книжку. Может, зевнет даже. Но простит, наверно: счастливые концы умилительны, а от умиления до прощения рукой подать.

Только Егор не простит. Молча смотрит он на меня светлыми, как родное небо, глазами, и нет во взгляде его ни осуждения, ни порицания, ни гнева: несогласие есть.

И поэтому я продолжаю. Песню, которую начал, надо допеть до конца.

14

Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых — весь поселок, а вот своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, а дрессировать — тем более. Обидно, конечно.

А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатович одну пристрелить, как тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может, даже и раньше.

Федор Ипатович собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит, должна себя оправдывать. Ну, а коли состарилась, нюх потеряла или злобу растратила, тогда не обессудь: за что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака эта, с голоду во дворе не издохла, Федор Ипатович ее самолично на собственном огороде из ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру собачникам сдавал (шестьдесят копеек платили!), а тушу под яблоней закапывал. Урожаистые были яблоньки, ничего не скажешь.

И нынче у них во дворе здоровенная псина на цепи билась. Нёбо черное, глаза красные, рык с надрывом, и клыки что два ножа. Даже Вовка Пальмы этой остервенелой побаивался, даром что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженого бог бережет — эту пословицу Вовка еще в зыбке выучил: часто повторяли.

На цепи, значит, перед входом Пальма металась, а на задах, за банькой, в старой железной бочке Цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас отмеривал: пока нравился компас этот Вовке, жив был Цуцик. Мог и хвостом помахать, и косточке порадоваться.

Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не потому, что Вовка извергом каким-то там рос: забывал просто, что собаки тоже есть каждый день хотят. Забывал, а глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах читать — это тоже уметь надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью прочитать. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти «что-то» никогда не интересовали, а потому и не беспокоили.

Ну, а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись да так и присохли к нему, — так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова у нее Вовкины были и мысли. А вот почему так получалось, Колька никак понять не мог: гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, раз прибил даже, а она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды.

А еще Вовка сказал однажды:

— Может, я его, Цуцика этого, все-таки утоплю. Надоест компас твой, и утоплю. Пользы от него никакой не получишь.

Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал. Но смолчал.

— Если он ценный, так ты мне цену давай.

— Какую цену? — не понял Колька.

— Настоящую. — Вовка солидно вздохнул.

— Так денег нету. — Колька подумал немного. — Может, я какую книжку в библиотеке стащу?

— Зачем мне книжка? Ты вещь давай.

Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем каждый день думал, каждый день страхом за Цуцика этого горемычного окутывался, а придумать ничего не мог. Мрачнел только. А тут еще Оля Кузина...

Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О щенке думал, о Вовке, о ценной вещи, которой у него не было, и об Оле Кузиной, у которой были глазки, смех и косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевной напротив нового лесничего.

А разговор за столом вот как складывался.

— Больно уж легко теперь человек с места вспархивает, — говорил тятька его, Егор Полушкин. — Враз куда-то устремляется, прибегает в задыхе, вершит, чего попалось, и обратно устремляется. И все кругом ему — случай... А из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович.

— Люди интересную работу ищут. Это естественно.

— Значит, коль естественно, то и ладно, так выходит? Не согласный я с вами. Всякое место, оно все

равно наше, общее то есть. А что выходит, если по жизни смотреть? А то выходит, что от поспешаловки мы про все это забываем. Вот приехал я, скажем, сюда, в поселок. Ладно-хорошо. Но и здесь, однако, лес да река, поля да облака. Чьи они? Старые люди толкуют: божьи. А я так мыслю, что если бога нет, то они мои. А мои, стало быть, береги свое-то. Не допускай разору: твоя земля. Уважай. Вот.

— Согласен с вами полностью, Егор Савельич.

Слушали здесь Егора — вот что удивительно было! Слушали, именем-отчеством величали, собственные ответы взвешивали. Егору это не то чтобы нравилось — он ведь не понравиться стремился! — а ворошило все в нем. Он уж и чай не пил, а только ложечкой в стакане помешивал и говорил то, что казалось ему и нужным и важным:

— Человек отдыхает, зверь отдыхает, пашня отдыхает. Всем отдыхать положено не для удовольствия, а для скопления сил. Чтоб, значит, обратно работать, так? А раз так, то и лес — он тоже подремать хочет. От людей забыться, от топоров залечиться, раны смолой затянуть. А мы обратно — лыко с него. Порядок это? Непорядок. Беспокойство это и липнякам полная смерть. Зачем?

— С липняками полностью моя вина, — сказал Юрий Петрович. — На охранные леса это разрешение не распространяется.

— Не в том дело, чья вина, а в том, чья беда...

Нонна Юрьевна тихо по хозяйски шебаршилась: чайку налить да хлебца подрезать. Слушала и Егора, и лесничего, а сама примолкла. Как Колька.

— Много липняка погибло?

— Это есть. — Егор вздохнул, вспомнив свой не-

задачливый поход. — Деньги сулили, так что уж... Топор не остановишь, коль полтина за килограмм.

— Да, — вздохнул Чувалов. — Жаль. В старых книгах указано, что в лесах наших было когда-то множество диких пчел.

— Мы ведь это... — Егор покосился на упорно молчавшего Кольку и опять вздохнул. — Мы тоже за лыком-то навострились. Да. А как глянули, что в лесу от стволов бело, так и назад. И жалко и совестно.

До чего же хорошо и покойно было ему в этот день! И разговор тек неспешно, и новый лесничий казался приветливым, и сам Егор Полушкин — умным и вполне даже самостоятельным мужиком. Колька, правда, пыхтел да хмурился, но на его хмурое сопенье Егору не хотелось обращать внимания: он берег впечатления от встречи с лесничим и нес их домой неторопливо и бережно, точно боялся расплескать.

— Уважительный человек лесничий новый, — сказал он Харитине, как спать улеглись. — Простая, видать, душа и к сердцу отзывчивая.

— Вот бы на работу ему тебя взять — это отзывчиво.

— Ну, зачем так-то, Тина, зачем?

О том, чтоб работать у Юрия Петровича, Егор даже думать боялся. То есть, конечно, думал, поскольку мечта эта заветная в нем уже поселилась, но вслух выражать ее не хотел. Не верил он больше в свое счастье и даже самые несбыточные мечты опасался до времени спугнуть или сглазить. И поэтому добавил политично:

— Он сюда не для работы приехал, а для туризма.

— А коль для туризма, так людям голову не мо-

рочь. А то обратно на три ста нагорим с туризмом с ихним.

Очень хотелось Егору защитить хорошего человека, но он только вздохнул и на другой бок повернулся. С женой спорить — бестолочь одна. Все равно последнее слово за ней останется.

А новый лесничий Юрий Петрович Чувалов, до вечера просидев у Нонны Юрьевны, в тот день, естественно, ни в какой поход не пошел. И не только потому, что время было позднее, а и по соображениям, не очень пока ясным для него самого.

Все началось с проводов. Поскольку лесничий нагрянул в поселок внезапно и от огласки воздерживался, то и ночевать пошел не к подчиненному Федору Ипатовичу Бурьянову, а к директору школы по рекомендации Нонны Юрьевны. И Нонна Юрьевна к директору этому в тот вечер его и провожала.

С директором у Нонны Юрьевны отношения были добрые. С директором добрые, а с товарищами по школе, с преподавательским, как говорится, коллективом, никаких отношений не сложилось. То есть, конечно, кое-что сложилось, но и не то и не так, как хотелось бы Нонне Юрьевне.

Надо сказать, что встретили молодую учительницу, прибывшую в поселок из города Ленинграда, и по-доброму и по-семейному. Всяк помочь рвался и помогал — и делом и советом. И все было отрадно аж до торжественного вечера накануне 8 Марта. Праздник этот отмечался особо, поскольку, кроме директора, мужчин в школе не имелось, и Международный женский день был воистину женским. Все к этому вечеру загодя и в глубокой тайне шили себе наряды.

А Нонна Юрьевна в брючном костюме. Нет, не ради демонстрации, а потому что искренне считала этот костюм вершиной собственного гардероба, надевала его до сей поры один раз, на выпускной институтский вечер, и все девчонки тогда ей завидовали. А тут получился конфуз и поджатые губы.

— Не воскресник у нас, милочка, а праздник. Наш, женский. Международный, между прочим.

— А по-моему, это нарядно, — пролепетала Нонна Юрьевна. — И современно.

— Насчет современности вам, конечно, виднее, только если вы в этой современности позволяете себе на торжественном вечере появляться, то извините. Мы тут, значит, не доросли.

Нонна Юрьевна к двери подалась, директор — за ней. Догнал на третьем повороте.

— Вы напрасно, Нонна Юрьевна.

— Что напрасно? — всхлипнув, спросила Нонна Юрьевна.

— Напрасно так реагируете.

— А они не напрасно реагируют?

Директор промолчал. Шел рядом с разгневанно шагавшей девушкой, думал, что́ следует сказать. Сказать следовало насчет примера, который обязан являть собою педагог, насчет буржуазных веяний чуждой нам моды и тому подобное. Следовало все это сказать, но сказал он это про себя, а вслух поведал совсем иное:

— Да завидуют они вам, Нонна Юрьевна! Так, знаете, чисто по-женски. Вы молодая, фигура у вас, извините, конечно. А у них заботы, семьи, мужья, хозяйство, а вы — завтрашнее утро. Так что пощадите вы их великодушно.

Нонна Юрьевна глянула сквозь слезки и улыбнулась:

— А вы хитрый!

— Ужасно, — сказал директор.

На вечер Нонна Юрьевна не вернулась, но с директором подружилась. Даже иногда на чаи захаживала. И поэтому вела сейчас к нему лесничего без предупреждения.

А вечер теплый выдался и застенчивый. Вдалеке, возле клуба, музыку наяривали, в небе облака розовели. А ветра не было, и каблучки Нонны Юрьевны с особенной четкостью постукивали по деревянным тротуарам.

— Тихо-то как у вас, — сказал Чувалов.

— Тихо, — согласилась Нонна Юрьевна.

Не ладится у них разговор. То ли лесничий с дороги притомился, то ли Нонна Юрьевна от разговоров отвыкла, то ли еще какая причина, а только шагали они молча, страдали от собственной немоты, а побороть ее и не пытались. Выдавливали из себя слова, как пасту из тюбика: ровнехонько зубки почистить.

— Скучно здесь, наверно?

— Нет, что вы. Работы много.

— Сейчас же каникулы.

— Я с отстающими занимаюсь: знаете, пишут плохо, с ошибками.

— В Ленинград не собираетесь?

— Может быть, еще съезжу. Маму навестить.

И опять — полста шагов молча. Будто зажженные свечи перед собой несли.

— Вы сами эту глухомань выбрали?

— Н-нет. Назначили.

— Но ведь, наверно, могли бы и в другое место назначить?

— Дети — везде дети.

— Интересно, а кем вы мечтали стать? Неужели учительницей?

— У меня мама — учительница.

— Значит, фамильная профессия?

Разговор становился высокопарным, и Нонна Юрьевна предпочла не отвечать. Юрий Петрович почувствовал это, в душе назвал себя индюком, но молчать ему уже не хотелось. Правда, он не очень-то умел болтать с малознакомыми девушками, но идти молчком было бы совсем глупо.

— Литературу преподаете?

— Да. А еще веду младшие классы: учителей не хватает.

— Читают ваши питомцы?

— Не все. Коля, например, много читает.

— Коля — серьезный парнишка.

— Им трудно живется.

— Большая семья?

— Нормальная. Отец у него странный немного. Нигде ужиться не может, мучается, страдает. Плотник хороший и человек хороший, а с работой ничего у него не получается.

— Что же так?

— Когда человек непонятен, то проще всего объявить его чудаком. Вот и Егора Савельевича бедоносцем прямо в глаза зовут, ну, а Коля очень больно переживает это. Простите.

Нонна Юрьевна остановилась. Опершись о забор, долго и старательно вытряхивала из туфель песок. Песку-то, правда, немного совсем набилось, но мысль,

которая пришла ей в голову, требовала смелости, и вот ее-то и копила в себе Нонна Юрьевна. И фразы сочиняла, как бы изложить эту мысль половчее.

— Вы один на Черное озеро собираетесь? — Сказала и испугалась: подумает еще, что навязывается. И добавила совсем уж невпопад: — Страшно одному. И скучно. И...

И замолчала, потому что объяснения завели ее совсем не в ту сторону. И с отчаяния брякнула без всякой дипломатии:

— Возьмите Полушкина в помощь. Его отпустят: он разнорабочим тут числится.

— Знаете, я и сам об этом думал.

— Правда? — Нонна Юрьевна улыбнулась с явным облегчением.

— Честное слово. — Юрий Петрович тоже улыбнулся. И тоже почему-то с облегчением на душе.

А на самом-то деле до ее неловких намеков ни о каком Егоре Полушкине лесничий и не помышлял. Он много и часто бродил по лесам один, ценил одиночество, и никакие помощники ему были не нужны. Но захотелось вдруг сделать что-то приятное этой застенчивой и нескладной маминой дочке, безропотно и честно исполнявшей свой долг в далеком поселке. И, увидев, как вспыхнуло ее лицо, добавил:

— И парнишку с собой захватим, если захочет.

— Спасибо, — сказала Нонна Юрьевна. — Знаете, мне иногда кажется, что Коля станет поэтом. Или художником.

Тут они наконец добрались до крытого железом директорского дома, и разговор сам собой прекратился. Возник он случайно, развивался мучительно, но

Юрий Петрович его запомнил. Может быть, как раз поэтому.

Передав нового лесничего с рук на руки директору, Нонна Юрьевна тут же убежала домой, потому что ей очень хотелось о чем-то подумать, только она никак не могла понять, о чем же именно. А директор расшуровал самовар и полночи развлекал Чувалова разговорами, особо упирая на то, что без помощи лесничества школе и учителям будет очень сложно с дровами. Юрий Петрович соглашался, гонял чаи и все время видел худенькую девушку в больших важных очках. И улыбался не к месту, вспоминая ее странную фразу: «Вы один на Черное озеро собираетесь?»

Утром он зашел в контору и договорился, что для ознакомления с водоохранным массивом ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю.

Заулыбались в конторе новому лесничему. Оно и понятно: край-то северный, а зимы вьюжные.

— Полушкина отчетливо знаем. С онерами!

— Шебутной он мужик, товарищ лесничий. Не советуем: сильно шебутной!

— Мотор утопил, представляете?

— Говорят, спьяну.

— Говорят или видели? — мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в добровольном согласии на получение шебутного мужика Егора Полушкина со всеми его онерами.

— Брехня — она впереди человека...

— Брехня впереди собаки. И то, если собака эта за глаза брехать натаскана.

Спокойно высказался. Но так спокойно, что кон-

торские деятели до вечера в собственной конторе шепотом разговаривали.

А Юрий Петрович из конторы направился к Нонне Юрьевне. Она только встала, встретила его в халатике и смутилась до онемения:

— Извините, я...

— Айда с нами на Черное озеро, — сказал он вместо «здравствуйте». — Надо же вам, преподавателю, знать местные достопримечательности.

Она ничего ответить не успела, да он и не ждал ответа. Кинул на крыльцо рюкзак, спросил деловито:

— Где Полушкин живет? Ладно, вы пока собирайтесь, а я за ним сбегаю. И за парнишкой!

И действительно побежал. Бегом, несмотря что новый лесничий.

15

Как Юрий Петрович один в походе со всеми делами управиться рассчитывал, этого ни Егор, ни Колька понять не могли. С самого начала, как только они в лес окунулись, работы оказалось невпроворот.

Колька, например, всю живность, в пути замеченную, должен был в тетрадку заносить, в «Журнал наблюдения за фауной». Встретил, скажем, трясогузку — пиши, где встретил, во сколько времени, с кем была она да чем занималась. Сперва Колька, конечно, путался, вопил на весь лес:

— Юрий Петрович, серенькая какая-то на ветке!

Серенькая, понятное дело, улетала, не дожидаясь, пока ее в журнал занесут, и Егор поначалу побаивался, что за такую активность лесничий Кольку живо назад наладит. Но Юрий Петрович всякий раз очень

терпеливо объяснял, как эта серенькая научно называется и что про нее надо писать, и к вечеру Колька уже кое-чего соображал. Не орал, а, дыхание затаив и язык высунув, писал в тетрадочке:

«17 часов 37 минут. Маленькая птичка лесной конек. Сидел на березе».

Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтоб тот насчет ошибок проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно:

— Часы, сынок, не потеряй.

Часы Кольке Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений.

«17 часов 58 с половиной минут. Мышка. Куда-то бежала, а откуда, не видал».

— Точность для исследования — самое главное, — говорил Юрий Петрович. — Это писатель может что-нибудь присочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай, мученики науки.

— А почему мученики?

— А потому, что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось, то давно настежь пооткрывали, а что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то, Николай Егорыч.

Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил: чтоб Нонна Юрьевна слышала. Для нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной.

А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей странным, почти нереальным: и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и Колькин разинутый от велико-

го усердия рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и шелест листвы, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к Черному озеру с чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверно, рассмеялась. А сегодня пошла. Без всяких уговоров. Прибежал лесничий от Полушкиных, спросил недовольно:

— Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан! Рюкзак у вас есть? Ничего у вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас сбегаю.

Нонна Юрьевна и моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они завтракали, и он уговаривал ее поесть поплотнее. А потом пришли Полушкины: Егор и Колька. А потом... Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся:

— Командовать парадом буду я.

Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках, которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще дичилась, еще старалась держаться в одиночестве или на крайний случай где-либо возле Кольки, еще молчала, но уже слушала.

В институте ее по-школьному звали Хорошисткой. Прозвище прилипло с первой недели первого курса, когда на первом комсомольском собрании энергичный представитель институтского комитета спросил:

— Вот, например, у тебя, девушка — да не ты, в очках которая, какие у тебя были общественные нагрузки?

— У меня? — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье. — У меня были разные общественные нагрузки.

— Что значит разные? Давай конкретнее. Кем ты была?

— Я? Я — хорошистка.

Тут Нонна не оговорилась: она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишенная резких колебаний и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях человеческих. Хорошистка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманитариев.

Так и бежали дни, ничем не затуманенные, но и ничем не просветленные. Все было очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога — странная, беспричинная и безадресная тревога — все росла, и Нонна все чаще и чаще, отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней, не-

понятную, но совсем не пугающую, добрую тревогу. И тогда подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного реферата по древнерусской литературе.

На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки уже прибрали к рукам. На танцы Хорошистка не ходила, случайных знакомств побаивалась, а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные ленинградские вечера, коротать которые приходилось — увы! — с мамой.

«Береги себя, доченька».

«Береги себя, мамочка».

Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова, которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд уже тронулся, мама семенила рядом с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки все свои силы. Впрочем, мама улыбалась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери, как две слезинки.

«Береги себя, доченька».

«Береги себя, мамочка».

Преодолев три сотни километров и пережив две пересадки, Хорошистка добралась-таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет народного просвещения. Написала маме очень длинное и изо всех сил веселое письмо, ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в подушку, а утром явилась в класс и стала Нонной Юрьевной. И постепенно все то, что осталось позади — лекции и ма-

мины пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и чаепитие у дальних родственников, — постепенно все это тускнело, бледнело, покрывалось прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее: горластые перемены, детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье. А будущее... Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не отличалось от прошлого либо настоящего: она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году.

А еще она мечтала о том, о чем всякая девушка. Но мечты эти были настолько наивными, что более или менее связно рассказать о них просто не представляется возможным.

И вот сейчас она шагала по глухому лесу с непривычным рюкзаком за плечами. И туфли ее — обычные городские туфли на низком каблуке, при виде которых Юрий Петрович подозрительно хмыкнул, — то проваливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные брюки (которые, к великому ее ужасу, оказались вдруг такими неприлично тесными!) мокли в росе, и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной, что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной.

К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна

Юрьевна тут же вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о полевых обедах Нонна Юрьевна имела довольно отвлеченные представления, но принялась за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев свариться. Нонна Юрьевна суматошно запихивала ее обратно, шепотом приговаривая какие-то женские заклинания, но каша упрямо стремилась в костер.

— На Маланьину свадьбу, — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну и аппетит же у вас, Нонна Юрьевна!

— Сладим, — сказал Егор.

Сладили. До донышка выскребли всю посуду, тогда только и отвалились. Нонна Юрьевна побежала к ручью ложки с плошками мыть. Егор Кольку в помощь ей отрядил, и мужчины остались одни у затухающего огня.

— В семейных состоите или в бобылях? — вежливо поинтересовался Егор.

Юрий Петрович странно посмотрел на него и еще более странно промолчал. Егор почувствовал неладное и засуетился:

— Извиняюсь, конечно, насчет любопытства. Но мужчина вы молодой, при должности, вот я, значит, и... того.

— А я, Егор Савельич, и сам не знаю, в каком звании состою: в семейных или в холостяках.

— Как так получается?

— Да вот получилось.

Замолчал Юрий Петрович. Сигареты достал, Егора угостил. С одного уголька прикурили. Егор, уж о любопытстве своем сто раз пожалев, о чем-то калякать пытался, всхохотнул даже раза четыре, но Юрий

Петрович был по-прежнему хмур и задумчив и отвечал невпопад.

Нонна Юрьевна посуду в ручье мыла, тоже хмурясь и о своем думая, а рядом Колька журчал без умолку. Пока он о зверье да о птицах журчал, Нонна Юрьевна не слушала, но Колька вдруг замолчал, про ежей не договорив. Подумал, повздыхал, спросил сердито:

— Вы что, с этим, с Юрием Петровичем, уедете, да?

— Куда уеду? — У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к ногам подкатился. — Зачем, Коля?

— Ну, женитесь и в город уедете, — очень агрессивно пояснил Колька. — Все так делают.

— Женюсь? Женюсь, да? — Нонна Юрьевна изо всех сил хохотать принялась, Кольку водой обрызгала и ложку утопила. — Вы слышите, Юрий Петрович? Слышите?

Нарочно громко кричала, чтобы все слышали. И все действительно слышали: и Егор и лесничий. Только молчали почему-то и радость с Нонной Юрьевной делить не торопились. И Нонна Юрьевна смешком собственным, кое-как сляпанным, враз подавилась, краснеть начала и ложку в воде шарить.

— Глупости это, Коля, глупости. Замолчи сейчас же и никогда об этом не говори.

А почему не говорить, когда все кругом так делают? Вот и его прежняя учительница женилась — и привет родному дому.

Вздохнул Колька. А Нонна Юрьевна, вздох этот недоверчивый уловив, закричала вдруг. Ни с того ни с сего, а будто бы со слезой:

— Я никогда не женюсь! Никогда, никогда, слышишь?

Так закричала, что Колька ей поверил. Без сомнения, не женится. Это уж точно.

16

Хоть и взял новый лесничий Егора с собой, хоть и исполнил тем самым затаенную мечту его, а вот прежняя Егорова живость, прежний звонкий и радостный оптимизм его уже никак и ни в чем не проявлялся. То ли устал Егор от всех мытарств, то ли не верил больше ни во что хорошее, то ли слишком уж непривычной и какой-то не очень, что ли, мужицкой представлялась ему новая его деятельность, а только радости особой он не испытывал.

Сколько желания сделать доброе человеку на жизнь отпущено? Сколько раз он, побитый и осмеянный, вновь подняться может, вновь улыбнуться труду своему, вновь силами с ним помериться? Сколько? Кто это знает! Может, на раз кого хватит, может, на сто раз? Может, уже исчерпал Егор весь запас жизнестойкости своей, все закрома до донышка выскреб, все зерно в муку перемолол и осталась в нем теперь одна полова? Где они, запасы-то эти, кто измерял их, кто испытывал, и не пора ли махнуть на все рукой, стянуть у Юрия Петровича трояк да дунуть сызнова к Филе да Черепку?

Кто знает, может, и махнул бы Егор на это свое везение. Махнул бы, потому что боялся в него поверить, боялся в себя поверить и в нового лесничего тоже боялся поверить. Удрал бы он отсюда, от новых попыток стать на ноги, поглядеть в себя, заслужить

уважение людей и уверенность, что не совсем он, Егор Полушкин, пропащая душа. Удрал бы, да Колька рядом шагал. Радовался, дурачок, лесу и зверью и радостно верил, что вот это и есть самая распрекрасная жизнь. И, глядя на радость эту, Егор понимал, что не сможет ее предать. И больше всего, больше самой лютой смерти боялся, что кто-то вообще может предать такую радость. Глаза эти предать, что смотрят в тебя незамутненно и доверчиво. И от незамутненности и доверия даже моргают-то через раз.

— Тять, я правильно про синичку написал?

— Часы, сынок, не потеряй.

— Да знаю я!

Зачем птичек-мурашек пересчитывать, кому они нужны? Для смеху если, так Колька же в полезность верит. Глаза ведь у него огнем горят, душа навострилась, верит он во все ваши штучки, и если вы нас опять, как тех мурашей, то обождите лучше маленько. Надо мной — это пожалуйста, это сколько угодно, а над мальцом...

— Кольке тетрадку дали для дела или так, для забавы?

— Почему для забавы?

— Посмеетесь, поди, у костра-то?

Юрий Петрович ответил не сразу. Подумал, на Егора поглядел. И враз перестал улыбаться.

— Мне не птички нужны, Егор Савельич, не перепись зверья. Мне сам Колька нужен, понимаете? Чтоб в лес он входил не как гость, а как хозяин, знал бы, где что лежит, где кто живет да как называется. А у костра... Что же, у костра, Егор Савельич, вместе посидим, вместе и посмеемся. Только не

над работой: работа, какая б ни была она, есть труд человеческий. А над трудом не смеются.

Нельзя сказать, чтоб эти слова сразу Егора на другие мысли перевели: мысли — не паровоз. Но в отношении Кольки как-то успокоили, и Егор маленько приободрился. Над сыном никто вроде смеяться пока не собирается, а насчет себя самого он мало беспокоился.

Но смеяться вечером им не пришлось, потому что пропала Нонна Юрьевна. Пропала, как стояла, аккурат после ужина, оставив после себя грязную посуду, и вместо сладкого перекура вышла потная беготня.

А вышла беготня эта потому, что Нонне Юрьевне понадобилось уединение. Улучив момент, когда прилипала-Колька куда-то отвлекся, Нонна Юрьевна шмыгнула в кусты и со всех ног кинулась подальше от костра, от малознакомых мужчин и — главное! — от Кольки. Бежала, покуда слышны были голоса, а поскольку Колька как раз в этот момент решил спеть, то бежать ей пришлось долго. И думала она на бегу не о том, как будет возвращаться, а о том, как бы кто ее не заметил.

Ну, а потом, когда надобность в одиночестве отпала, лес на все триста шестьдесят градусов оказался настолько одинаковым, что Нонна Юрьевна, повращавшись, решила опираться только на интуицию и отважно шагнула куда-то вперед.

Хватились ее, по счастью, быстро. Колька исполнял песню специально для нее и нуждался в оценке. Однако слушателя нигде не оказалось, и после недолгих поисков Колька доложил об этом отцу.

— Сейчас вернется, — сообразил Егор и пошел вместо Нонны Юрьевны мыть посуду.

Он старательно перемыл все ложки-плошки, а учителка все не появлялась. Егор два раза аукнул, ответа не получил и доложил о пропаже команде.

— Наверно, так надо, — сказал Юрий Петрович.

— Всякое «надо» полчаса назад должно было кончиться, — сказал Егор. — А она не откликается.

— Нонна Юрьевна! — бодро крикнул лесничий. — Вы где?

Послушали. Только лес шумел. По-вечернему шумел, басовито и таинственно.

— Что за черт! — нахмурился Юрий Петрович. — Нонна! Эгей! Где вы там?

— Вот, — сказал Егор, прислушиваясь. — Могила.

— Чего? — озадаченно спросил Юрий Петрович.

— Может, она домой пошла? — тихо предположил Колька. — Обиделась и пошла себе.

— Далеко домой-то, — усомнился Егор.

Юрий Петрович побегал по окрестности, поорал, посвистел. Вернулся озабоченным:

— Искать придется, Коля, от костра чтоб ни на шаг! Не боишься один-то?

— Не-а, — вздохнул Колька. — Ведь надо.

— Надо, сынок, — подтвердил Егор и трусцой побежал в лес. — Ау, Юрьевна!

Аукали, пока хрип из глоток не пошел, Юрий Петрович сперва жалел, что ружья не прихватил, а потом — что девицу эту с собой пригласить надумал. Дернула же нелегкая! Но об этом особо погоревать ему не пришлось, потому что в непонятных лесных сумерках мелькнуло вдруг что-то совсем не лесное, что-то нелепое, жалкое, плачущее навзрыд. Мелькнуло — и Юрий Петрович не успел сообразить,

что это за видение, как Нонна Юрьевна повисла у него на шее.

— Юрий Петрович! Миленький!

Ревела она еще по-детски: громко и некрасиво. Шмыгала носом, размазывала ладонями слезы и вздыхала.

— Дура ты чертова! — с удовольствием сказал ей Юрий Петрович. — Это ведь не Кировский парк культуры и отдыха.

Нонна Юрьевна покорно кивала, всхлипывая уже по инерции. Юрий Петрович радовался, что в лесу темно и что Нонна Юрьевна не видит ни его смеющихся глаз, ни улыбок, которые он старательно прятал.

— Классный руководитель заблудился в трех шагах от палатки. Да если я расскажу об этом вашим ученикам...

— А вы не говорите.

— Я-то уж, так и быть, пощажу вас. А Колька?

Нонна Юрьевна промолчала. Они продирались по темному лесу: Юрий Петрович шел впереди, обламывая сучья, чтобы Нонна не напоролась. Сухие ветки трещали на всю округу.

— «Мы идем сквозь революционный лай», — сказал Юрий Петрович и смутился, подумав, что щеголяет начитанностью не к месту и не ко времени.

— Я идиотка? — доверительно спросила Нонна Юрьевна.

— Есть немного.

Нонна хотела объяснить, как все получилось, но тут раздался грохот, и прямо на них вывалился Егор Полушкин.

— Нашлась! Слава те... Тут... это... медведей

нет, но заблудиться недолго. Жалко, Колька компас свой потерял, а то бы вам его.

Вопреки тайному опасению Нонны Юрьевны Колька встретил ее очень радостно и никаких вопросов не задавал. Проворчал только:

— Без меня чтобы ни шагу теперь.

— Достукались? — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну, спать. Дамы и пажи — в палатку, рыцари — под косматую ель.

Колька и головы до подушки не донес: как свалился, так и засопел. А вот Нонне Юрьевне не спалось долго, хоть и расстарался Егор, наломав ей под бочок самого нежного лапника.

Кажется, она все-таки поцеловала Юрия Петровича. В страхе и слезах она не давала отчета в своих поступках и, не колеблясь, повисла бы на шее у Фили или у Черепка, если бы им случилось найти ее. Но случилось это Юрию Петровичу, и Нонна Юрьевна до сей поры чувствовала на губах жесткую, выдубленную солнцем и ветром щетину, тихонько трогала пальцами эти грешные губы и улыбалась.

Мужчины уснули сразу. Егор храпел, завалив голову, а Юрий Петрович вздыхал во сне и хмурился. То ли видел что-то сердитое, то ли недоволен был звонким Егоровым соседством.

Проснулся он рано: Егор, выбираясь из-под плащ-палатки, которой они оба укрывались, потянул не за тот край.

— Куда? Рано еще.

— Так... — Егор почему-то засмущался. — Погляжу пойду. Вы спите.

Юрий Петрович глянул на часы — было около пяти, — повернулся на другой бок, смутно подумал,

как там спится Нонне Юрьевне, и уснул, будто провалился. А Егор взял чайник и пошел к реке.

Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. Егор зачерпнул чайник, по воде разбежались круги, отражение закачалось, померкло на мгновение и снова возникло: такое же неправдоподобно четкое и глубокое, как прежде. Егор посмотрел в него, осторожно, словно боясь спугнуть, вытащил полный чайник, тихо поставил его на землю и присел рядом.

Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствия звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоянный на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную кору ольхи: они переплетались с всплывающими навстречу солнцу кувшинками, почти неуловимо размывались у самого дна. И ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг и все это исчезнет, исчезнет навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом Совете. И он вдруг догадался, чего ему хочется: зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям. Но зачерпнуть ее было невозможно, а рисовать Егор не умел и ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. И потому он просто сидел над водой, боясь шелохнуться, забыв о чайнике и о ку-

реве, о Кольке и о Юрии Петровиче и обо всех горестях своей нелепой жизни.

Совсем рядом раздался шорох. Егор поднял голову: что-то белое колыхнулось за кустом, кто-то вздохнул, осторожно, вполвздоха. Он вытянул шею и сквозь листву увидел Нонну Юрьевну: она только что сняла халатик и белой ногой осторожно, как цапля, пробовала воду. Егор подумал, что надо бы взять чайник и уйти, но не ушел, потому что и этот полувздох, и эти плавные женские движения тоже были отсюда, из той картины, над которой он вдруг замер, забыв обо всем на свете.

А Нонна Юрьевна сняла все, что еще оставалось на ней, и пошла в воду. Она шла медленно, ощупывая дно, гибкая и неуклюжая одновременно. И с тем же чувством спокойствия, с каким он глядел на реку, Егор смотрел сейчас на молодую женщину, на длинные бедра и покатые худенькие плечи, на маленькие девчоночьи груди и на тяжелые важные очки, которые она так и не решилась оставить на берегу. И, глядя, как она тихо плещется на мелководье, он понимал, что не подглядывает, что в этом нет ничего зазорного, а есть то же, что у этой реки, у берез, у тумана: красота.

Наплескавшись, Нонна Юрьевна пошла к берегу, и, по мере того как вырастала она из воды, тело ее словно наполнялось пугливой стыдливостью, а чтобы прикрыть все, что хотелось, рук у нее не хватало, и она изгибалась, изо всех сил вытягивая тонкую шею и настороженно оглядывая кусты большими очками, на стеклах которых слезинками серебрились капли. И Егор совсем было собрался уходить, но на берегу она спокойно занялась волосами, старательно отжимая

и вытирая их, и вновь изогнулась, но уже не испуганно, а свободно, раскованно, и Егор чуть не охнул от вдруг охватившего его непонятного восторга. И опять пожалел о том, что нельзя, невозможно, немыслимо сохранить для людей и этот миг, донеся его до них в своих заскорузлых ладонях.

А потом он опомнился и, подхватив чайник, нырнул в кусты и прибежал к костру раньше Нонны Юрьевны совсем с другой стороны. Потом они завтракали, разбирали палатку, укладывали пожитки, а Егор все время видел тихую речку и белую гибкую фигуру, отраженную в ясной воде. И вздыхал почему-то.

К обеду вышли на берег Черного озера. Оно и впрямь было черным: глухое, затаенное, с нависшими над застывшей водой косматыми елями.

— Вот и прибыли, — сказал Юрий Петрович, с удовольствием сбросив рюкзак. — Располагайтесь, а мы с Колей насчет рыбки побеспокоимся.

Он достал складной спиннинг, коробочку с блеснами и пошел к воде. Колька забегал сбоку, во все глаза глядя на непонятную металлическую удочку.

— На червя, дядя Юра?

— На блесну. Щучку или окуня.

— Ну! — усомнился Колька. — Баловство это, поди?

— Может, и баловство. Отойди-ка, Николай Егорыч.

На пятом забросе леска резко дернулась, и двухкилограммовая щука свечой взмыла вверх.

— Клюнула! — заорал Колька. — Тятька! Нонна Юрьевна! Щуку тащим!

— Погоди кричать, еще не вытащили.

Берег был низким, болотистым, заросшим осо-

кой, и Юрий Петрович легко выволок серо-зеленую щуку с широко разинутой черной пастью. Белое брюхо проехалось по осоке, Юрий Петрович прижал щуку носком сапога, вырвал из зева блесну и отбросил рыбу подальше от берега.

— Вот и обед.

— А мне... — Колька даже слюной подавился от волнения. — Попробовать, а?

— Учись, — сказал Юрий Петрович.

Он показал мальчику, как забрасывать спиннинг, и, поддев щуку сучком, пошел к костру. А Колька остался на берегу. Забросы пока не получались, блесна летела куда ей вздумается, но Колька старался.

— Поди, денег стоит, — озабоченно сказал Егор. — Сломает еще.

— Починим, — улыбнулся Юрий Петрович, и Нонна Юрьевна тотчас же улыбнулась ему.

Колька стегал Черное озеро до вечера. Вернулся хмурым, но с открытием:

— За мыском кострище чье-то. Банок много пустых. И бутылок.

Все пошли смотреть. Высокий берег был вытоптан и частично выжжен, и свежие пни метили его, как оспины.

— Туристы, — вздохнул Юрий Петрович. — Вот тебе и заповедный лес. Ай да товарищ Бурьянов!

— Может, не знал он об этом, — тихо сказал Егор.

Туристы умудрились вывернуть из земли и спалить межевой столб: осталась яма да черная головня.

— Хорошо гуляли! — злился Юрий Петрович. — Столб придется новый поставить, Егор Савельич.

Займитесь этим, пока мы вокруг озера обойдем: поглядим, нет ли где еще такого же веселья.

— Сделаем, — сказал Егор. — Гуляйте, не беспокойтесь.

Вечером допоздна засиделись у костра. Утомленный спиннингом, Колька сладко сопел в палатке. Нонну Юрьевну упоенно жрали комары, но она терпела, хотя никакого интересного разговора так и не возникло. Глядели в огонь, перебрасываясь словами, но всем троим было хорошо и спокойно.

— Черное озеро, — вздохнула Нонна Юрьевна. — Слишком мрачно для такой красоты.

— Теперь Черное, — сказал Юрий Петрович. — Теперь Черное, а в старину — я люблю в старые книжки заглядывать, — в старину оно знаете, как называлось? Лебяжье.

— Лебяжье?

— Лебеди тут когда-то водились. Особенные какие-то лебеди: их в Москву поставляли для царского стола.

— Разве ж их едят? — удивился Егор. — Грех это.

— Когда-то ели.

— Вкусы были другими, — сказала Нонна Юрьевна.

— Лебедей было много, — улыбнулся Юрий Петрович. — А сейчас, пожалуйста, — Черное. И то чудом спасли.

На предложение обойти озеро Колька отмахнулся: он спозаранку уже покидал спиннинг, убедился, что до совершенства ему далеко, и твердо решил тренироваться. Юрий Петрович встретил его отказ спокойно, а Нонна Юрьевна перепугалась и с перепугу засуетилась неимоверно:

— Нет, нет, Коля, что ты говоришь! Ты должен непременно пойти с нами, слышишь? Это и с познавательной точки зрения и вообще...

— Вообще я хочу щуку поймать, — сказал Колька.

— Потом поймаешь, после. Вот вернемся и...

— Да, вернемся! Мне тренироваться надо, Юрий Петрович вон на пятьдесят метров бросает.

— Коля, но я прошу тебя. Очень прошу пойти с нами.

Юрий Петрович, сдерживая улыбку, следил за струсившей Нонной Юрьевной. Потом сжалился:

— Мы с собой спиннинг возьмем, Егорыч. Тут ты уже всех щук распугал.

Аргумент подействовал, и Колька бросился собираться. А Юрий Петрович сказал:

— А вы, оказывается, трусишка, Нонна Юрьевна.

Нонна Юрьевна вспыхнула — хоть прикуривай. И смолчала.

Оставшись один, Егор неторопливо принялся за дела. Углубил яму саперной лопаткой запасливого Юрия Петровича. Наглядел осину для нового столба, покурил подле, а потом взял топор и затопал вокруг обреченной осины, прикидывая, в какую сторону ее подручнее свалить. В молодой осинник — осинок жалко. В ельник — так и его грех ломать. На просеку — так убирать придется, мороки часа на три. На четвертую разве сторону?

На той четвертой стороне ничего примечательного не было: торчал остаток давно сломанной липы. Видно, с тростиночки еще липа эта горя хватила, изогнулась вся, борясь за жизнь. Сучья почти от комля начинались и росли странно, растопыркой, и тоже изви-

вались в самых разных направлениях. Егор глянул на нее вскользь, потом — еще вскользь, чтоб прицелиться, как осину класть. Потом на руки поплевал, топор поднял, замахнулся, еще раз глянул и... И топор опустил. И, еще ни о чем не думая, еще ничего не поняв, пошел к той изломанной липе.

Что-то он в ней увидел. Увидел вдруг, разом, словно при всплеске молнии, а теперь забыл и растерянно глядел на затейливое переплетение изогнутых ветвей. И никак не мог понять, что же он такое увидел.

Он еще раз закурил, присел в отдалении и все смотрел и смотрел на эту раскоряку, пытаясь сообразить, что в ней заключено, что поразило его, когда он уже замахнулся на осину. Он приглядывался и справа и слева, откидывался назад, наклонялся вперед, а потом с внезапной ясностью вдруг мысленно отсек половину ветвей и словно прозрел. И вскочил, и заметался, и забегал вокруг этой коряги в непонятном радостном возбуждении.

— Ладно- хорошо, — бормотал он, до физического напряжения всматриваясь в перепутанные ветви. — Тело белое, как у девушки. Это она голову запрокинула и волосы вытирает, волосы...

Он проглотил подкативший к горлу ком, поднял топор, но тут же опустил его и, уговаривая сам себя не торопиться, отступил от липы и снова присел, не сводя с нее глаз. Он уже забыл и про межевой столб, и про нового лесничего, и про Нонну Юрьевну, и даже про Кольку; он забыл обо всем на свете и ощущал сейчас только неудержимое, мощно нарастающее волнение, от которого дрожали пальцы, туго стучало сердце и покрывался испариной лоб. А потом

поднялся и, строго сведя выгоревшие свои бровки, решительно шагнул к липе и занес топор.

Теперь он знал, что́ рубить. Он увидел лишнее.

Лесничий с учительницей и Колькой вернулись через сутки. Возле давно потухшего костра сидел взъерошенный Егор и по-собачьи посмотрел им в глаза.

— Тять, а я окуня поймал! — заорал Колька на подходе. — На спиннинг, тять!

Егор не шелохнулся и будто ничего не слышал. Юрий Петрович ковырнул осевшую золу, усмехнулся.

— Придется, видно, нам его и зажарить. На четверых.

— Я кашу сварю, — торопливо сказала Нонна Юрьевна, со страхом и состраданием поглядывая на странного Егора. — Это быстро.

— Кашу так кашу, — недовольно сказал Юрий Петрович. — Что с вами, Полушкин? Заболели?

Егор молчал.

— Столб-то хоть поставили?

Егор обреченно вздохнул, дернул головой и поднялся:

— Идемте. Все одно уж.

Пошел к просеке, не оглядываясь. Юрий Петрович посмотрел на Нонну Юрьевну, Нонна Юрьевна посмотрела на Юрия Петровича, и оба пошли следом за Егором.

— Вот, — сказал Егор. — Такой, значит, столб.

Тонкая, гибкая женщина, заломив руки, изогнулась, словно поправляя волосы. Белое тело матово светилось в зеленом сумраке леса.

— Вот, — тихо повторил Егор. — Стало быть, так вышло.

Все молчали. И Егор сокрушенно умолк и опустил

голову. Он уже знал, что должно было последовать за этим молчанием, уже готов был к ругани, уже жалел, что снова увлекся, и сам ругал себя последними словами.

— Баба какая-то? — удивленно хмыкнул подошедший Колька.

— Это чудо, — тихо сказала Нонна Юрьевна. — Ничего ты, Коля, еще не понимаешь.

И обняла его за плечи. А Юрий Петрович достал сигареты и протянул их Егору. Когда закурили оба, спросил:

— Как же ты один дотащил ее, Савельич?

— Значит, сила была, — тихо ответил Егор и заплакал.

17

В то утро, когда Егор круги на воде считал да нечароком Нонной Юрьевной любовался, у продовольственного магазина встретились Федор Ипатович с Яковом Прокопычем. Яков Прокопыч по пути на свою водную станцию всегда в магазин заглядывал, аккурат к открытию: не выбросили ли чего любопытного? А Федор Ипатович приходил по сигналам сверху: ему лично завмаг новости сообщал. И сегодня он сюда за селедочкой навострился: забросили в эту точку баночную селедочку. Деликатес. И за этим деликатесом Федор Ипатович первым в очереди угнездился.

— Здорово, Федор Ипатыч, — сказал Яков Прокопыч, заняв очередь девятнадцатым: у завмага да продавщицы не один Федор Ипатович в знакомых ходил.

— Наше почтение, — отозвался Федор Ипатович и газету развернул: показать, что в разговоры вступать не готовится.

В другой бы день Яков Прокопыч, может, и обратил бы внимание на непочтение это, может, и обиделся бы. А тут не обиделся, потому что новость нес обжигающую и спешил ее с души сложить.

— Что о ревизии слыхать? Какие эффективности?

— О какой такой ревизии?

— О лесной, Федор Ипатыч. О заповедной.

— Не знаю я никакой ревизии, — сказал Федор Ипатович, а строчки в газете вдруг забегали, буквы запрыгали, и ни единого слова уже не читалось.

— Тайная, значит, ревизия, — сделал вывод Яков Прокопыч. — А свояк ничего не сообщает?

— Какой такой свояк?

— Ваш. Егор Полушкин.

Совсем у Федора Ипатовича в глазах зарябило. Какая ревизия? При чем Егор? И спросить хочется, и солидность терять боязно. Сложил газету, сунул ее в карман, похмурился.

— Известно, значит, всем.

А что известно, и сам бы узнать не прочь. Да как?

— Известно, — согласился Яков Прокопыч. — Неизвестны только выводы.

— Какие выводы? — Федор Ипатович насторожился. — Не будет выводов никаких.

— Видать, не в полном вы курсе, Федор Ипатыч, — сказал въедливый Сазанов. — Будут строгие выводы. На будущее. Для тех выводов учительницу и включили.

Какая комиссия? Какая учительница? Какие выводы? Совсем уж Федор Ипатович намеками истер-

зался, совсем уж готов был в открытую у Якова Прокопыча все расспросить, да как раз в миг этот магазин открылся. Все туда потекли, вдоль прилавков выстраиваясь, и разговор оборвался.

И уж только потом, когда полностью отоварились, возобновился: Федор Ипатович специально на улице поджидал.

— Яков Прокопыч, чего-то я не допонял. Где, говорите, Полушкин-то обретается?

— В лесу он обретается: комиссию ведет. В ваши заповедные кварталы.

Туча тучей Федор Ипатович домой вернулся. На Марьицу рявкнул, что та чуть стакан в руках удержала. Сел к завтраку — кусок в горло не лез. Ах, Егор Полушкин! Ах, змея подколодная! Недаром, видать, с учительницей любезность разводил: под должность копает. Под самый корешок.

Весь день молчал, думы свои чугунные ворочал. И комиссия не праздничек, а ревизия не подарок. Но это еще так-сяк, это еще стерпеть можно, а вот то, что свой же сродственник, друг-приятель, бедоносец чертов, корень жизни твой вагой поддел, это до глухоты обидно. Огнем это жжет, до боли непереносимой. И простить этого Федор Ипатович не мог. Никому бы этого не простил, а Егору — особо.

Два дня сам не свой ходил и ел через раз. На Марьицу рычал, на Вовку хмурился. А потом отошел вроде, даже заулыбался. Только те, кто хорошо Федора знал, улыбку эту, навеки застывшую, по достоинству оценили.

Ну, а Егор Полушкин про эту улыбку и знать ничего не знал и не догадывался. Да если бы и знал, внимания бы не обратил. Не до чужих улыбок ему

было — сам улыбался от уха до уха. И Колька улыбался, не веря собственному счастью: Юрий Петрович ему на всеобщих радостях спиннинг подарил.

— Главное, я не сразу углядел-то! — в сотый раз с неиссякаемым восторгом рассказывал Егор. — Сперва, значит, вроде ударило меня, а потом позабыл, чего ударило-то. Глядел, глядел, значит, и углядел!

— Учиться вам надо, Егор Савельич, — упрямо талдычила Нонна Юрьевна.

— Вам оно, конечно, виднее, а меня ударило! Ударило, поверите ли, мил дружки вы мои хорошие!

Так, радостно вспоминая о своем внезапном озарении, он и притопал в поселок. И на крайней улице вдруг остановился.

— Что стал, Егор Савельич?

— Вот что, — серьезно сказал Егор и вздохнул. — Не обидите, а? Радость во мне сейчас расставаться не велит. Может, ко мне пожалуете? Не ахти, конечно, угощение, но, может, честь окажете?

— Может, лучше потом, Егор Савельич? — замялась Нонна Юрьевна. — Мне бы переодеться...

— Так хороши, — сказал Юрий Петрович. — Спасибо, Егор Савельич, мы с удовольствием.

— Да мне-то за что, господи? Это вам спасибо, вам!

День был будничный, о чем Егор за время своей вольной жизни как-то позабыл. Харитина работала. Олька в яслях забавлялась, и дома их встретило только кошкино неудовольствие. Егор шарахнул по всем закромам, но в закромах было пустовато, и он сразу засуетился.

— Счас, счас, счас. Сынок, ты картошечки спро-

ворь, а? Нонна Юрьевна, вы тут насчет хозяйства сообразите. А вы, Юрий Петрович, вы отдыхайте покуда, отдыхайте.

— Может, хозяйку подождем?

— А она аккурат и поспеет, так что отдыхайте. Курите тут, умойтесь. Сынок покажет.

Торопливо бормоча гостеприимные слова, Егор уже несколько раз успел слазить за Тихвинскую богоматерь, ощупать пустую коробку из-под конфет и сообразить, что денег в доме нет ни гроша. Это обстоятельство весьма озадачило его, добавив и без того нервозной суетливости, потому что параллельно с бормотанием он лихорадочно соображал, где бы раздобыть десятку. Однако в голову, кроме сердитого лица Харитины, ничего путного не приходило.

— Отдыхайте, значит. Отдыхайте. А я... это... Сбегаю, значит. В одно место.

— Может, вместе сбегаем? — негромко предложил Юрий Петрович, когда Нонна Юрьевна вышла вместе с Колькой. — Дело мужское, Егор Савельич.

Егор строго нахмурился. Даже пальцем погрозил:

— Обижаешь. Ты гость, Юрий Петрович. Как положено, значит. Вот и сиди себе. Кури. А я похлопочу.

— Ну, а если по-товарищески?

— Не надо, — вздохнул Егор. — Не порть праздник.

И выбежал.

Одна надежда была на Харитину. Может, с собой она какие-никакие капиталы носила, может, одолжить у кого-нито могла, может, присоветовать что путное. И Егор с пустой кошелкой, на дне которой сиротливо перекатывалась пустая бутылка, перво-наперво рванул к своей благоверной.

— А меня спросил, когда приглашал? Вот сам теперь и привечай, как знаешь.

— Тинушка, невозможное ты говоришь!

— Невозможное? У меня вон в кошельке невозможного — полтора целковых до получки. На хлеб да Ольке на молоко.

Красная она перед Егором стояла, потная, взлохмаченная. И руки, большие, распаренные, перед собой на животе несла. Бережно, как кормильцев дорогих.

— Может, одолжим у кого?

— Нету у нас одалживателей. Сам звал, сам и хлопочи. А я твоих гостей и в упор не вижу.

— Эх, Тинушка!..

Ушла. А Егор вздохнул, потоптался в парном коридоре, что вел на кухню, и вдруг побежал. К последней пристани и последней надежде, к Федору Ипатовичу Бурьянову.

— Так, так, — сказал, выслушав все, Федор Ипатович. — Значит, в полном удовольствии лесничий пребывал?

— В полном, Федор Ипатыч, — подтвердил Егор. — Улыбался.

— К Черному озеру ходили?

— Ходили. Там... это... туристы побывали. Лес пожгли маленько, набедили.

— И тут он улыбался, лесничий-то?

Егор вздохнул, опустил голову, с ноги на ногу перемялся. И надо было бы соврать, а не мог.

— Тут он не улыбался. Тут он тебя поминал.

— А когда еще поминал?

— А еще порубку старую на обратном конце нашли. В матером сосеннике.

— Ну, и какие же такие будут выводы?

— Насчет выводов мне не сказано.

— Ну, а на порубку-то кто их вывел? Компас, что ли?

— Сами вышли. На обратном конце.

— Сами, значит? Умные у них ноги. Ну-ну.

Федор Ипатович сидел на крыльце в старой рубахе без ремня и без пуговиц — врасплох. Подгонял топорища под топоры: штук десять топоров перед ним лежало. Егор стоял напротив, переступая с ноги на ногу: в кошелке брякала пустая пол-литра.

Стоял, переминался, глаза отводил: тот, кто в долг просит, тот загодя виноват.

— Все, значит, сами. И туристов сами нашли и порубки старые. Ловко! Умные, выходит, люди, а?

— Умные, Федор Ипатыч, — вздохнул Егор.

— Так, так. А я глянь, чего делаю. Я инвентарь чиню: его по описи передавать придется. Ну, так как скажешь, Егор, зря я его чиню или не зря?

— Так чинить — оно не ломать. Оно всегда полезное дело.

— Полезное, говоришь? Тогда слушай мой вывод. Вон со двора моего сей же момент, пока я Пальму на тебя не науськал! Чтоб и не видел я тебя более и слыхом не слыхивал. Ну, чего стоишь, переминаешься, бедоносец чертов? Вовка, пускай Пальму! Куси его, Пальма, цапай! Цапай!

Тут Пальма и впрямь голос подала, и Егор ушел. Нет, не от Пальмы: сроду еще собаки его не трогали. Сам собой ушел, сообразив, что денег тут не одолжат. И очень поэтому расстроился.

Вышел со двора, постоял, поглядел на петуха, что топором его был сработан. Улыбнулся ему, как знакомому, и враз расстройство его пропало. Ну не добыл

он денег на угощение, ну сто́ит ли из-за этого печаловаться, раз с крыши петух орет, а в лесу дева белая волосы расчесывает? Нет, Федор Ипатыч, не достигнешь ты теперь до обиды моей, потому что во мне покой поселился. Тот покой, который никогда не посетит тебя, никогда тебе не улыбнется. А что денег нет и людей принять не могу, так то пустое. Раз деву они мою поняли, так и это они поймут.

И, подумав так, он с легким сердцем и пустой кошелкой потрусил к собственному дому. И пустая бутылка весело брякала в такт.

— Товарищ Полушкин! Полушкин!

Оглянулся: Яков Прокопыч. С лодочной, видать, станции: ключи в руке несет.

— Здоров, товарищ Полушкин. Куда поспешаешь-то?

Сказал Егор, куда поспешает.

— Гость важный, — ответил Яков Прокопыч. А кошелка пустая. Нескладность.

— Чайком побалуются.

— Нескладность, — строго повторил Яков Прокопыч. — Однако если по-соседски, то можно рассудить. Я имею непочатую банку селедки и заход в магазин с твоей пустой кошелкой. А ты имеешь важного гостя. Пойдет?

— Что пойдет-то? — не понял Егор.

Яков Прокопыч с упреком посмотрел на него. Вздохнул даже, коря за несообразительность.

— Знакомство.

— Ага! — сказал Егор. — С тобой, что ли?

— Я прихожу со всем припасом из магазина. Ты мне радуешься и знакомишь. Как бывшего справедливого начальника.

— Ага, — с облегчением сказал Егор, уразумев наконец всю сложность товарообмена. — Это пойдет.

— Это ты молодец, товарищ Полушкин, — с чувством отметил Яков Прокопыч, забирая у Егора пустую кошелку. — Лесничий — птица важная. Ежели она не перелетная, конечно.

С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка. А через полчаса появился и сам Яков Прокопыч с тяжелой кошелкой, в которой уже не брякало, а булькало. На Якове Прокопыче был невероятно новый костюм и соломенная шляпа с дырочками.

А фокус состоял в том, что Яков Прокопыч очень любил знакомиться с людьми, занимающими пост. И чем выше был пост, тем больше любил. Даже хвастался:

«У меня секретарь знакомый. И два председателя».

И неважно для него было, чего они там председатели, а чего — секретари. У него своя табель была.

И нового лесничего он точно вычислил: чуть повыше директора совхоза и чуть пониже инструктора райкома. А личные качества Юрия Чувалова не интересовали Якова Прокопыча. Ну зато, правда, он никаких благ от него получать и не рассчитывал. Он бескорыстно знакомился.

— Строгости соблюдаем мало, — говорил он за столом. — Много стало отвлечения в нашем народе. А вот берем мою жизнь: что в ней главное? Главное в ней — что велено. Но я же один, и мне не радостно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я чего не достиг, может, я чего недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, ска-

зать научно, без полного к себе уважения. Непонятность.

Юрий Петрович с трудом поддерживал его возвышенную беседу, а Егор и вовсе не слушал. Он счастлив был, что в его доме сидят хорошие, веселые люди и что Харитина, с работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу.

— Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя, зарумянилась-то как на нашем солнышке! Налилась, девушка, что яблочко, вызрела!

И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с печеньем выгребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая, шумная и сильная жена его на табурет рухнула и заплакала вдруг тихо и жалобно:

— Силушек моих нет, Нонна ты моя дорогая Юрьевна. Измотал меня муж мой, измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он ежедень, пусть бы лучше бил он меня, пусть бы лучше на чужие юбки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости да людской уважительности детей выпестовать? Мать тело питает, отец — душу, так-то мир держится. А коли в семье разнотык, коли я, баба темная да немудрая, и за мать и за отца, и хлебом кормлю и душу креплю, так беда ведь то, Нонна Юрьевна, горе горькое! Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в

тряпках да белье, а на кухне мужика не вырастишь.

Так она плакала, а для Егора все было распрекрасно, все было правильно, и после третьей рюмочки он не выдержал:

— Спой, Тина, а? Уважь гостей дорогих.

Сказал и испугался: опять «тягры» свои понесет. А Харитина грудь надула, голову откинула, поднатужилась и завела — аж стекла задребезжали:

Зачем вы, девочки, красивых любите...

И Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна: тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели. Уважительно и с бережением.

Только Яков Прокопыч не пел: хмурился. И жалел, что угощение зря потратил: если начальник песни вторым голосом поет — разве это начальник? Нет, такой долго не продержится, это точно. Сгорит.

18

Весь поселок слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую:

Ах, люди добрые, поверьте.
Ды расставанье ды хуже смерти!

А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору. Кольке в доме постелили, а мужчины легли в сараюшке. И вот о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тот был серьезным.

— Егор Савельич, что, если я вам этот лес поручу?

— А как же свояк? Федор Ипатыч?

— Жук ваш Ипатыч. Жук и прохвост, сами видели. Ну, а если по совести? Если лесником вас — будет порядок?

Егор помолчал, поразмыслил. Неделю бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, заверяя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас — странное дело! — сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но радости своей не высказал, а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный мужик:

— Порядок будет полный.

— Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи.

Юрий Петрович на бок повернулся и сонно задышал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хорошие думы, чувствовал полный, торжественный покой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы эти совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка. Без тревог и волнений.

А вот Федор Ипатович спал плохо: всхрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатович жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался с боку на бок, а потом решил, что жалко не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте.

Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырял

яишенку вилкой, хмурился, на Марьицу ворчал. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил.

Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор чего-то на петуха показывал и смеялся. Зубы щерил.

— Убери-ка все это, Марьица, — сказал Федор Ипатович.

— Чего все, Феденька?

— Жратву убери! — рявкнул он вдруг. — Все, чтоб дочиста на столе!

Не успела Марьица стол вытереть — дверь распахнулась, и оба вошли. Поздоровались, но рук не подали. Ну, Егору-то первому и не положено вроде, а вот что Чувалов от бурьяновского пожатия свою уберег, это Федора Ипатовича насторожило.

— Славный у вас домик, — сказал Юрий Петрович. — Не тесно втроем-то?

— Это кому тесно? Это нам тесно? Это в родном-то доме... — начала было Марьица.

— Годи! — крикнул хозяин. — Ступай отсюда. У нас свой разговор.

Вышла Марьица к сыну в соседнюю комнату. А Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал.

— И полы тесаные. Богато.

— Все уплачено. Все по закону.

— Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом. Вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту передать ему имущество и документацию.

— Приказа не вижу.

— С приказом не задержу.

— Когда будет, тогда и передам.

— Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно! Вот и приступим. Как, Егор Савельич?

— Приступим, — сказал Егор.

— Ну, добро. — Федор Ипатович как пуд уронил. — Приступим.

Два дня Егор имущество принимал, каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес. Наводить порядок.

— Когда вернетесь-то? — спросила Харитина.

— Не скоро, — сказал. — Пока все там не уделаем, как требуется, не вернемся.

Колька вожжами подергал, почмокал: поехали. А Юрий Петрович тем временем, в город прибыв, написал сразу два приказа: о снятии с работы Бурьянова Ф. И. и о назначении на должность Полушкина Е. С. Потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатовича, сочинил заявление, какое требовалось для возбуждения дела, а придя домой, сел за письмо. Крупными буквами написал:

Здравствуй, дорогая мамочка!

Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел: «Дорогая Марина!» Подумал, зачеркнул «дорогая», написал «уважаемая», зачеркнул и «уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось, аргументы казались неубедительными, мотивы неясными, и вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал.

А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие

просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зазря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало, и он был счастлив оттого, что ему не хватает времени, и, если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением и, засыпая, успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой, и просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею.

— Сынок, ты стихи сочинять умеешь?

Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не сдаваясь, спросил еще раз. Колька опять засопел, но ответил:

— Про это не спрашивают.

— Я для дела, — пояснил Егор. — Понимаешь, сынок, турист все едино сюда проникнет, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И будет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать: мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал: стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно.

— Ладно, — вздохнул Колька. — Попробую.

После оды на смерть Ункаса Колька написал только одно стихотворение — про девочку с косичками и про любовь до гроба, — но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову. Вовка с гоготом зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился и решил навсегда порвать с творчеством.

— Для дела разве что. А так — баловство это, тять.

— Ну, не скажи, — усомнился Егор. — А песни как же тогда?

— Ну что песни, что песни? .. Не будешь же ты песни туристам петь, правда?

— Не буду, — согласился Егор. — Некогда. Мы их... это... выжжем.

На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным, Колька взмок и уморился, но к вечеру выдал первую продукцию.

— Ну, слушай, тять. — Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачастил:

Граждане туристы!
Чтобы было чисто,
не палите по лесу
множество костров.
Вы найдите лучше,
где дровишек куча
и кострище сделано
лесником.

— Ага, — сказал Егор. — Про кострище — это хорошо, а то еще, не дай бог, лес попалят. Это пойдет, сынок, молодец.

— У меня еще про муравьев есть, — объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием. — Так, значит:

Я муравей,
я житель лесной,
и дом мой стоит
под высокой сосной.

Ты мимо пройди
и не трогай его,
нам больше не надо
от вас ничего.

— Вот это да! — с чувством сказал Егор. — Это ты здорово сочинил. И складно.

— Я завтра еще сочиню! — закричал Колька вдохновенно. — Я, может, целую поэму сочиню!

— Надо, чтоб коротко, — уточнил Егор. — Коротко и ясно. Вот как про мурашей.

— Будет коротко, — подтвердил Колька. — Коротко и звонко.

Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузил все на телегу, и многотерпеливая казенная кобыла уже к вечеру тронулась в обратный путь к шалашу возле Черного озера.

Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу. Может, матерые деревья переметить, чтоб — упаси бог! — не повалил кто на дровишки или на материал. Может, еще что сообразить для туристов, которые, пронюхав про заповедный уголок, теперь уж ни за что не оставят его в покое. А может, действительно переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь Юрию Петровичу: то-то, поди, удивится!

И так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы, пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимания. С тяжким вздохом упало это дерево на землю, на миг стало тихо, а Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока

бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры, и он бежал на этот стук.

Подле поваленного ствола копошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков: двое так двое, пятеро так пятеро. Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал:

— Стой и с места не сходи! Фамилия?

Обернулись те двое: Филя и Черепок. И Егор остановился, точно на пень набежал.

— Во! — сказал Филя. — Помощник пришел.

А Черепок глядел злыми красными глазками. И молчал.

— Какое интересное получается явление, — продолжал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде, в дружеские времена. — Историческая называется встреча. На высоком уровне за круглым пеньком.

— Зачем повалили? — тупо спросил Егор, пнув ногой лесину. — Кто велел валить?

— Долг, — вздохнул Филя, но улыбку не спрятал. — Зачем, интересуешься спросить? А в фонд. Отгрузим завтра три пустых пол-литры: пусть жгут танки империализма бензиновым огнем.

— Кто велел, спрашиваю! — Егор изо всех сил сдвинул брови, чтоб стать строгим хоть маленько. — Опять шабашка ваша дикая, так понимать, да?

— Понимай так, что три пол-литры. — Филя сладко причмокнул и зажмурился. — Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь.

Егор поглядел на странно сопевшего Черепка, сказал:

— Топоры давайте.

— Топоры мы тебе не дадим, — сказал Филя. — А дадим либо пол-литру, либо по шее. Сам выбирай, что́ тебе сподручнее.

— Я как официальный лесник тутошнего массива официально требую...

— А фамилия моя сегодня будет Пупкин, — вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок. — Так и запиши, полицай проклятый.

Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекозы звенели. И Егор услышал и этот звон и эту тишину. И вздохнул:

— Какой такой полицай? Зачем так-то?

— В начальство вылез? — захрипел Черепок. — Вылез в начальники и уже измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видал? Видал, мать твою перемать?..

Он картинно рванул на груди перепревшую, ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг, без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину:

— Видал?

Грязная, согнутая колесом спина его была вся в бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине.

— Художественно расписано, — сказал Филя, ухмыляясь. — Видно руку мастерства.

— Все тут расписано, все! — кричал Черепок, не разгибаясь. — И полицаи, и эсэсы, и жандарма немецкая. Ты тоже хочешь? Ну, давай! Давай расписывайся!

— Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли, — тихо и неожиданно серьезно сказал Фи-

ля. — Укройся. Укройся, Леня, не перед тем выставляешься.

Черепок покорно накинул разодранную рубаху, всхлипнул и сел на только что сваленную сосну. Несмотря на зной, его трясло, он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял:

— А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну?

И опять Егор услышал звон стрекоз и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет с сердца тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе Черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорово, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал:

— При законе я состою.

— А кто знать-то будет? — спросил Филя. — Что он, считанный, лес-то твой?

— Все у государства считано, — сказал Егор. — И потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте.

Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе. И на руке взвесил:

— Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные...

— Отдай ему топор, — сказал вдруг Черепок. — Света я не люблю. Я темь люблю.

И пошел сквозь кусты, рубахи не подобрав. И разорванная, перепревшая рубаха волочилась за ним, цепляясь за сучья.

— Ну, Егор, не обижайся, когда впотьмах встретимся!

Это Филя на прощанье сказал, топоры ему швырнув. А Егор заклеймил поваленные деревья, забрал

топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжарил вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали.

У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор.

19

С каждым днем Нонна Юрьевна все острее ощущала необходимость съездить в город. То ли за книжками, то ли за тетрадками. Сперва мыкалась, а потом пошла к директору школы и многословно, волнуясь, сообщила ему, что учебного года без этой поездки начать невозможно. И что она хоть сейчас готова поехать и привезти все, что требуется.

— А что требуется? — удивился директор. — Ничего, слава богу, не требуется.

— Глобус, — сказала Нонна Юрьевна. — У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды — дыра.

— Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды, — проворчал директор. — Они глобусами в футбол играют, а потом дыра. Кстати, с точки зрения философской, дыра — это тоже нечто. Это некое пространство, окруженное материальной субстанцией.

— Могу и футбол купить, — с готовностью закивала Нонна Юрьевна. — И вообще. Инвентарь.

— Ладно, — согласился директор. — Если в тридцатку уложитесь, отпущу. Дорога за ваш счет.

В городе проходило какое-то областное совещание, и мест в гостиницах не оказалось. Однако это обстоятельство скорее обрадовало Нонну Юрьевну, чем

огорчило. Она тут же позвонила Юрию Петровичу, сказала, что ее насильно отправили сюда в командировку, и не без тайного злорадства сообщила, что мест в гостиницах нет.

— Вы человек авторитетный, — говорила она, улыбаясь телефонной трубке. — Походатайствуйте за командировочного педагога из дремучего угла.

— Походатайствую, — сказал Юрий Петрович бодро. — Голодная, поди? Ну, приходите, что-нибудь сообразим.

— Нет... — вдруг пискнула Нонна Юрьевна. — То есть приду.

Именно в этот момент Нонна вдруг обнаружила, что в ней до сего времени мирно уживались два совершенно противоположных существа. Одним из этих существ была спокойная, уверенная в себе женщина, выбившая липовую командировку и ловко говорившая по телефону. А другим — трусливая девчонка, смертельно боявшаяся всех мужчин, а Юрия Петровича особенно. Та девчонка, что пискнула в трубку «нет».

А Юрий Петрович вместо ходатайства в буфет бросился. Накупил булочек, молока, сластей, заказал чай горничной. Только успел в номере прибрать и накрыть на стол, как постучала сама Нонна Юрьевна.

— Извините. Вам не удалось помочь мне, Юрий Петрович?

— Что? Ах да, с устройством. Я звонил. Обещали к вечеру что-нибудь сделать, но без гарантии. Вот чайку попьем — еще позвоню.

Врал Юрий Петрович с некоторым прицелом, хотя никаких заранее обдуманных намерений у него не было. Просто ему очень нравилась эта застенчивая

учительница, и он не хотел, чтобы она уходила. Номер был двухкомнатный, и втайне мечталось, что Нонна Юрьевна вынуждена будет остаться здесь до утра. Вот и все, а остальное он гнал от себя искренне и настойчиво. И потому угощать Нонну Юрьевну мог с чистой совестью.

Проголодавшаяся путешественница поглощала бутерброды с недевичьим аппетитом. Юрий Петрович лично сооружал их для нее, а сам довольствовался созерцанием. И еще расспрашивал: ему нравилась ее детская привычка отвечать с набитым ртом.

— Значит, вы считаете исполнительность положительным качеством современного человека?

— Безусловно.

— А разве тупое «будет сделано» не рождает бездумного соглашательства? Ведь личность начинается с осознания собственного «я», Нонна Юрьевна.

— Личность сама по себе еще не идеал: Гитлер тоже был личностью. Идеал — интеллигентная личность.

Нонна Юрьевна была максималисткой, и это тоже нравилось Юрию Петровичу. Он все время улыбался, хотя внутренне подозревал, что эта улыбка может выглядеть идиотской.

— Под интеллигентной личностью вы понимаете личность высокообразованную?

— Вот уж нет. Образование — количественная оценка человека. А интеллигентность — оценка качественная. Конечно, количество способно переходить в качество, но не у всех и не всегда. И для меня, например, Егор Полушкин куда более интеллигент, чем некто с тремя дипломами.

— Суровая у вас шкала оценки.

— Зато правильная.

— А еще какое качество вы хотели бы видеть в людях?

— Скромность, — сказала она, вдруг потупившись.

Юрий Петрович подумал, что этот ответ скорее реакция на ситуацию, чем точка зрения, но развивать эту тему не решился. К этому времени Нонна Юрьевна съела все пирожные и теперь послушно дохлебывала пустой чай.

— Вы не позабудете позвонить насчет гостиницы?

— Ах да! — спохватился Юрий Петрович. — Конечно, конечно.

Он прошел к телефону и, пока Нонна Юрьевна убирала со стола, набрал несуществующий номер. В трубке сердито гудело, и Юрий Петрович боялся, что она услышит этот гудок. И говорил громче, чем требовалось:

— Коммунхоз? Мне начальника отдела. Здравствуйте, Петр Иванович, это Чувалов. Да-да, я звонил вам. Что? Но это невозможно, Иван Петрович! Что вы говорите? Послушайте, я очень вас прошу...

По неопытности Юрий Петрович не только путал имя начальства, но и не делал пауз между предложениями, и, если бы Нонна Юрьевна слушала, что он бормочет, она бы сразу все поняла. Но Нонна Юрьевна была погружена в свои думы, предоставляя Юрию Петровичу возможность наивно врать в гудящую телефонную трубку.

Секрет заключался в том, что Нонна Юрьевна впервые в жизни была в гостях у молодого человека.

Пока шел студенческий ужин с молоком и пирож-

ными, девчонка, уживавшаяся в ее существе рядом с женщиной, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Но когда чаепитие закончилось, а за окном сгустились сумерки, девчонка стала пугливо отступать на второй план. А на первый все заметнее выходила женщина: это она сейчас оценивала поведение Юрия Петровича, это она чувствовала, что нравится ему, это она настойчиво вспомнила, что никто не заметил, как Нонна Юрьевна прошла в этот номер.

И еще эта женщина сердито говорила сейчас Нонне: «Не будь дурой». Нонна очень пугалась этого голоса, но он звучал в ней все настойчивее: «Не будь дурой. Ты же ради него организовала эту командировку, так не будь же идиоткой, Нонка». И Нонна очень пугалась этого голоса, но не спорила с ним.

Вот почему она и не разобралась в наивной игре Юрия Петровича с телефонной трубкой. А очнулась, только когда он сказал:

— Знаете, Нонна, а мест действительно нет. Ни в одной гостинице.

Женщина возликовала, а девчонка перетрусила. И Нонна никак не могла сообразить, что же делать ей-то самой: радоваться или пугаться?

— Боже мой, но у меня в городе нет знакомых.

— А я? — Юрий Петрович спросил сердито, потому что боялся, как бы Нонна не заподозрила его в тайных намерениях. — Номер «люкс», места хватит.

— Нет, нет... — сказала Нонна Юрьевна, но эти два «нет» прозвучали как одно «да», и Юрий Петрович молча пошел стелить себе на диване.

Теперь, когда молчаливо решилось, что Нонна остается, они вдруг перестали разговаривать и вообще старались не видеть друг друга. И пока сидевшая

в Нонне девчонка замирала от страха, женщина вела себя с горделивой невозмутимостью.

— Можно воспользоваться ванной?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Юрий Петрович вдруг засуетился, потому что это спросила женщина, и он мгновенно почувствовал себя мальчишкой. — Полотенце только сегодня меняли. Вот...

— Благодарю вас.

И женщина гордо проследовала мимо, перебросив через руку свой самый нарядный халатик. Юрий Петрович еще не успел прийти в себя от неожиданного тона, как трусливая девчонка тут же высунула голову из ванной комнаты:

— Тут задвижки нет!

— Я знаю, не беспокойтесь, — улыбнулся Юрий Петрович, почувствовав некоторое облегчение.

Надо сказать, что в отличие от Нонны Юрьевны он попадал в сходные ситуации, но всегда все его женщины сами решали, как им поступать, и Юрию Петровичу оставалось только не быть идиотом. Но женщина, которая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит. И поэтому ему было и легче и проще, когда на смену этой таинственной женщине приходила знакомая девчонка с круглыми от страха глазами.

— Ой! — сказала эта девчонка, старательно запахивая халатик. — У вас и дверей нет.

Спальня двухкомнатного номера отделялась от гостиной портьерой, и сейчас Нонна Юрьевна в растерянности топталась на пороге.

— Стул поставьте, — посоветовал Юрий Петрович. — Если я спросонок перепутаю, куда идти, то

наткнусь на стул. Он загремит, и вы успеете заорать.

— Благодарю вас, — холодно отпарировала Нонна Юрьевна женским голосом. — Спокойной ночи.

Юрий Петрович ушел в ванную, нарочно долго умывался, чтобы Нонна Юрьевна успела не только улечься, но и успокоиться. Затем погасил свет, на цыпочках прокрался к дивану, и старый диван завопил всеми пружинами, как только он на него уселся.

— Ч-черт! — громко сказал он.

— Вы еще не спите? — вдруг тихо спросила Нонна Юрьевна.

— Нет еще. — Юрий Петрович снимал рубашку, но тут же надел ее снова. — Что вы хотели, Нонна?

Нонна промолчала, а его сердце забилось легко и стремительно. Он вскочил, шагнул в соседнюю комнату, с грохотом оттолкнув стоявший на пороге стул.

— Ч-черт!..

Нонна Юрьевна тихо засмеялась.

— Вам смешно, а я рассадил ногу.

— Бедненький!

В густых сумерках он увидел, что она сидит на кровати, по-прежнему кутаясь в халатик. И сразу остановился.

— Вы так и будете сидеть всю ночь?

— Может быть.

— Но ведь это глупо.

— А если я дура?

Она говорила совершенно спокойно, но это было спокойствие изо всех сил: ему казалось, что он слышит бешеный стук ее сердца. Юрий Петрович сделал еще шаг, неуверенно опустился на колени на вытер-

тый гостиничный коврик и бережно взял ее руки. Она покорно отдала их, и халатик на ее груди сразу разошелся наивно и беззащитно.

— Нонна... — Он целовал ее руки. — Нонночка, я...

— Зажгите свет. Ну пожалуйста!

— Нет. Зачем?

— Тогда молчите. Хотя бы молчите.

Они разговаривали так тихо, что не слышали, а угадывали слова. А слышали только, как неистово бьются сердца.

— Нонна, я должен тебе сказать...

— Да молчите же. Молчите, молчите!

Что он мог сейчас ей сказать? Что любит ее? Она это чувствовала. Или, может быть, не любит? Боже мой, как же он может не любить ее, когда он здесь, рядом? Когда он стоит на коленях и целует ей — ей! — руки?

Так думала Нонна Юрьевна. Даже не думала, нет — она не способна была сейчас ни о чем думать. Это все проносилось, мелькало в ее голове, это все пыталась осознать, ухватить пугливая девчонка, а женщина неотступно думала лишь о том, что он слишком уж долго целует ее руки.

Она осторожно потащила их на себя, а он не отпускал и утыкался в ладони лбом.

— Нонна, я должен тебе сказать...

— Нет, нет, нет! Не хочу. Не хочу ничего слышать, не хочу!

— Нонна, я старше, я обязан...

— Поцелуй меня.

Нонна с ужасом услышала собственный голос, и девчонка забунтовала, забилась в ней. А Юрий

Петрович еще стоял на коленях, еще был далек, так недосягаемо далек для нее. И она повторила:

— Поцелуй, слышишь? Меня еще никто, никто не целовал. Никогда.

Если бы он промедлил еще миг, она бы бросилась из окна, убежала бы куда глаза глядят или назло всем съела бы целую коробку спичек: таким путем, по словам мамы, покончила с собой какая-то очень несчастная девушка. Это была последняя попытка отчаянной женщины, что до сих пор тайно жила в ней. Последняя попытка победить одиночество, ночную тоску, беспричинные слезы и важные очки, которых Нонна мучительно стеснялась.

А потом... Что было потом?

— Нонна, я люблю тебя.

— Теперь говори. Говори, говори, а я буду слушать.

Они лежали рядом, и Нонна все время тянула на себя простыню. Но сейчас в ней уже не было спора, сейчас и отважная женщина и трусливая девчонка очень согласно улыбались друг другу в ее душе.

— Я схожу за сигаретой. Ничего?

— Иди.

Она лежала с закрытыми глазами и живой улыбкой. У нее спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова. Она приподняла ресницы, увидела, как белая фигура, опять громыхнув стулом и чертыхнувшись, проплыла в соседнюю комнату, услышала, как чиркнула спичка, почувствовала дымок. И сказала:

— Кури здесь. Рядом.

Белая фигура остановилась в дверном проеме.

— Ты должна презирать меня. Я поступил подло, я не сказал тебе, что... — Смелость Юрия Петровича испарялась с быстротой почти антинаучной. — Нет, я не женат... То есть формально я женат, но... Понимаешь, я даже маме никогда не говорил, но тебе обязан...

— Обязан? Уж не решил ли ты, что я женить тебя хочу?

Это был чужой голос. Не женщины и не девушки, а кого-то третьего. И Нонна Юрьевна обрадовалась, обнаружив его в себе.

— Не волнуйся: мы же современные люди.

Он что-то говорил, но она слышала только его виноватый, даже чуточку заискивающий голос, и в ней уже бунтовало что-то злое и гордое. И, подчиняясь этой злой, торжествующей гордости, Нонна сбросила одеяло и начала неторопливо одеваться. И, несмотря на то что она впервые одевалась при мужчине, ей не было стыдно: стыдно было ему, и Нонна это понимала.

— Мы вполне современные люди, — повторяла она, изо всех сил улыбаясь. — Замужество, загсы, свадьбы — какая чепуха! Какая, в сущности, все чепуха! Все на свете! Я сама пришла и сама уйду. Я свободная женщина.

Он растерянно молчал, не зная, что сказать ей, как объяснить и как удержать. Нонна спокойно оделась, спокойно расчесала волосы.

— Нет, нет, не провожай. Ты человек семейный, лицо официальное. Что могут подумать горничные, представляешь? Ужас, что́ они могут про тебя подумать!

Нонна Юрьевна возвращалась домой неудобным утренним поездом. Сидела, забившись в угол, при-

жав к себе новый круглый, как футбольный мяч, ученический глобус, и впервые в жизни жалела, что никак не может заплакать.

А Юрий Петрович остался в полном смятении. Просидев на работе весь день без движения и выкурив пачку сигарет, вечером написал-таки письмо таинственной Марине, но не отправил, а три дня таскал в кармане. А потом перечитал и порвал в клочья. И опять недвижимо сидел за столом, который каждый день покрывался новыми слоями входящих и исходящих. И опять полночи сочинял письмо, которое на этот раз начиналось: «Любимая моя, прости!..» Но Юрий Петрович не был мастак сочинять письма, и это письмо постигла участь предыдущих.

— Надо поехать, — твердил Юрий Петрович, без сна ворочаясь на гостиничной кровати. — Завтра же, утренним поездом.

Но приходило утро, и уходила решимость, и Чувалов опять мыкался и клял себя последними словами. Нет, не за Нонну Юрьевну.

Два года назад в глухое алтайское лесничество приехала из Москвы практикантка. К тому времени Юрий Петрович уже отвык от студенческой болтовни, еще не привык к мини-юбкам и ходил за практиканткой, как собачонка. Девчонка вертела застенчивым лесничим с садистским наслаждением, и порой Юрию Петровичу казалось, что не она у него, а он у нее проходит практику. Через неделю она объявила, что у нее день рождения, потребовала шампанского, и руководитель хозяйства лично смотался за двести километров на казенном мотоцикле. Когда шампанское было выпито, практикантка покружилась по комнате и объявила:

— Стели постель. Только, чур, я сплю у стенки.

К утру Юрий Петрович окончательно потерял голову.

— Одевайся, — сказал он. — Едем в сельсовет.

Практикантка нежилась поверх взбитых простыней.

— В сельсовет?

— Распишемся, — сказал он, торопливо натягивая рубаху.

— Вот так, сразу? — Она рассмеялась. — Как интересно!

Они подкатили к сельсовету на дико рычавшем мотоцикле, в десять минут получили свидетельство и жирные штампы в паспорта, а через три дня молодая жена укатила в Москву. Юрий Петрович в то время боролся с непарным шелкопрядом на дальнем участке и, вернувшись, обнаружил дома только записку:

БЛАГОДАРЮ.

Обратного адреса практикантка не оставила, и Юрию Петровичу пришлось писать на институт. Письмо долго где-то блуждало, ответ пришел только через два месяца и был коротким, как их супружеская жизнь:

Я ПОТЕРЯЛА ПАСПОРТ. СОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ.

Юрий Петрович не стал терять паспорт, а постарался забыть об этой истории и писем больше не писал. Потом пришлось сдавать дела, и уже в Ленинграде от студенческого товарища Чувалов узнал новость, заставившую его вновь разыскать утерявшую паспорт жену:

— Знаешь, у Марины ребенок.

Он все-таки разыскал ее. Написал письмо на домашний адрес, и в ответ на вопрос, не его ли это ребенок, получил ровно три слова:

ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

И вот теперь ему надо было знать правду, как никогда. Знать, кто он: муж или не муж, отец или не отец, свободен или не свободен. Но насмешливый цинизм ее ответов выводил Чувалова из равновесия, и он только писал письма, рвал их и писал снова.

А сейчас он боялся потерять Нонну. Здесь было кого терять, и поэтому Юрий Петрович никак не мог решиться сесть в поезд и приехать к ней. Приехать означало решить «да» или «нет», а так оставалось еще спасительное «может быть». А тут как раз из Москвы прибыл большой начальник, и Юрий Петрович обрадовался, потому что никуда не мог поехать. Три дня он вводил начальство в курс дела, а потом вдруг затосковал и неожиданно для себя объявил:

— Тут интересного для тебя мало: леса в основном вторичные. А вот возле Черного озера сохранился еще любопытный массивчик.

Сказал и испугался: вдруг согласится?

— Опять комаров кормить?

— Комаров нет, мошка появилась. — Юрий Петрович с удивлением обнаружил, что уговаривает. — А массив интересен с точки зрения естественного биоценоза: как раз твой конек.

— Ладно, уговорил,— сказал начальник, и Юрий Петрович расстроился.

Прибыв в поселок, Чувалов представил начальство местным властям и побежал к Нонне Юрьевне.

Сочинял на бегу горячие речи и не сразу поверил глазам, увидев на знакомых дверях амбарный замок. Потрогал его рукой, походил вокруг и пошел к директору школы.

— В Ленинграде Нонна Юрьевна. Три дня, как уехала.

— Когда вернется?

— Должна двадцатого августа, но... — Директор вздохнул. — Аналогичный случай был в позапрошлом году.

— Что вы говорите?

— Ее предшественница тоже уехала повидаться с мамой, а прислала заявление с просьбой «по собственному желанию».

— Не может быть!

— Все может быть, — философски сказал директор. — Конечно, Нонна Юрьевна педагог серьезный, но ведь и Ленинград город серьезный.

— Да, да, — тихо сказал Юрий Петрович. — Адреса мамы не знаете?

Записал адрес, рассеянно пообещал директору дровишек для школы и уже без всякого интереса повел большого начальника в заповедный массив.

— Пешком поволок, — ворчал начальник, не без удовольствия шлепая босиком по лесной дороге. — И спать, наверно, на лапнике заставишь? Бирюк ты, Чувалов, недаром до сих пор бобылем живешь.

— Оставь это! — вдруг заорал сдержанный Юрий Петрович. — Привыкли треп в кабинетах разводить!

— Нет, ты настоящий бирюк, — сказал, помолчав, начальник. — Самая пора тебе в министерство. Между прочим, как инспектирующий, могу там доложить о полном порядке в твоем хозяйстве. Лес ухожен,

порубок не видно. Нет, знаешь, Юра, мне нравится. Ей-богу, нравится.

Юрий Петрович хмуро молчал. Впрочем, начальник замолчал тоже, наткнувшись на солидных размеров щит, сбитый из струганых досок. На щите были выжжены стихи:

Стой, турист, ты в лес вошел,
не шути в лесу с огнем,
лес — наш дом,
мы в нем живем.
Если будет в нем беда,
где мы будем жить тогда?

По бокам щита раскаленным гвоздем были выжжены зайцы, ежи, белки, птицы и большой лось, похожий на усталого Якова Прокопыча.

— Толково, — сказал начальник. — Твоя инициатива?

— Еще чего! — сказал Юрий Петрович. — Сам удивляюсь, когда он все успел.

— Кто?

— Лесник мой. Егор Полушкин.

— Любопытно, — сказал начальник. — Это я сниму. — И полез за фотоаппаратом.

Чувалов усмехнулся:

— Пленки не хватит.

К вечеру они добрались до Егорова шалаша. Начальник переписал по дороге все Колькины сочинения и растратил всю пленку.

— Значит, ты автор? — допрашивал он Кольку. — Молодец! Поэтом будешь?

— Не-а. — Колька застеснялся. — Лесничим. Как Юрий Петрович.

— За это ты вдвойне молодец, Николай!

Утомленный и немного обеспокоенный вниманием большого начальника, Егор тихо отодвигался от костра.

Чувалов был хмур, но Егор не обращал на это внимания. Его занимал незнакомый начальник, и он все думал, не допустил ли где промашки.

— В Москве бывал когда, Егор Савельич?

— В Москве? — Егор не умел так быстро перестраиваться. — Чего там?

И Юрий Петрович с ходу поведал Егору печальную историю своей семейной жизни. Егор слушал, сокрушался, но ему все время мешало смутное упоминание о Москве. Поэтому он и переспросил:

— Ну дык она-то в Москве?

— Эй, заговорщики, уху хлебать! — весело окликнул начальник.

Через неделю из Москвы пришел официальный вызов. Лесник водоохранного массива Егор Полушкин приглашался на Всесоюзное совещание работников лесного хозяйства за особые, видать, заслуги, поскольку в лесниках ходил без году неделю.

— Слона погляжу, сынок, — сказал Егор.

— Слона глядеть — невелик прибыток, — проворчала Харитина. — Ты главный ГУМ погляди: люди денег собрали и список составили, кому чего нужно.

Никого на Егоровых проводах не было, только Яков Прокопыч. У того своя просьба:

— Докладывать придется — про лодочную станцию не забудь, товарищ Полушкин. Пригласи вежливо: мол, удобства, вода мягкая, лес с грибом. Может, кто из центра оживит нашу окрестность.

Совсем уж к поезду собрались — Марьица. Засветилась улыбкой еще сквозь двери:

— Ах, Егор Савельич, ах, Тинушка! В Москву ведь, не в область.

— Совершенно согласен, — сказал Яков Прокопыч.

Но не Яков Прокопыч Марьице сейчас был нужен. Она с Егора Полушкина, с бедоносца божьего, глаз масленых не сводила.

— Егор Савельич, батюшка, тайно я тебе кланяюсь. И от мужа тайно и от сына тайно. Спаси ты нас, Христа ради. Угрозыск ведь Федора-то Ипатыча таскает. По миру ведь закруглить грозятся.

— Закон уважения требует, — строго сказал Яков Прокопыч.

Егор промолчал. А Марьица заплакала и сестре в плечо уткнулась:

— Пропадаем!

— Скажи ты начальнику какому, Егор, — вздохнула Харитина. — Родня ведь. Не сторонние.

— А кто меня спросит? — нахмурился Егор. — Велико ли дело — лесник в Москву приехал.

Как ни плакала Марьица, как ни убивалась, ничего он больше не сказал. Взял чемодан — специально для Москвы самый большой купили, — попрощался, посидел перед выходом и пошел на вокзал. А Марьица домой побежала.

— Ну, что обронено? — спросил Федор Ипатович.

— Отказал он, Феденька. Гордый стал больно.

— Гордый? — И желваки по скулам забегали. — Ну, добро, если гордый. Добро.

А Егор сидел у окна в вагоне, и колеса стучали: «В Москву! В Москву! В Москву!..»

Но пока не в Москву, правда, а в областной центр, на пересадку. И как раз в это время из областного того центра другой поезд отходил: с Юрием Петровичем у вагонного окна. И колеса тут по-иному стучали: «В Ленинград! В Ленинград! В Ленинград!..»

20

Не обнаружив в областном городе Юрия Петровича, Егор сразу утратил всю гордость и сел в московский поезд очень растерянным. Правда, билет ему Чувалов взял заранее и оставил в гостинице, где Егору этот билет и вручили с сообщением, что сам Чувалов отбыл в неизвестном направлении.

Впервые Егор ехал в купейном вагоне, где из бережливости не стал брать постель. Попутчики попались солидные, о чем-то калякали, но Егор разговора не поддерживал. Он не получил последних напутственных указаний от Юрия Петровича, и ему было не до разговоров. И ночь почти не спал и мыкался на голом тюфяке, опасаясь ворочаться, чтобы никого не разбудить.

К утру он весь занемел и прибыл в столицу в окостенелом состоянии.

Однако его опасения оказались преждевременными: в Москве Егора встретили и определили в гостиницу.

— Вам, вероятно, придется выступить в прениях, — сказал встречавший его молодой человек, когда они прошли в номер.

— В чем?

— В прениях. — Молодой человек достал бума-

гу, положил на стол. — Мы подготовили для вас кое-какие тезисы. Ознакомьтесь.

— Ага, — сказал Егор. — А зоопарк далеко?

— Зоопарк? — недоверчиво переспросил молодой человек. — По-моему, метро «Краснопресненская». Завтра в десять утра ждем в министерстве.

— Загодя приду, — заверил Егор.

Встречавший ушел, а Егор, наскоро перекусив в буфете, расспросил, как проехать до станции «Краснопресненская», и не очень уверенно спустился на эскалаторе в метро.

В зоопарке он подолгу задерживался перед каждой клеткой, а перед слоновником замер. Вокруг менялись люди, приходили, смотрели, уходили, а Егор все стоял и стоял, сам себе не веря, что видит живого слона. Правда, слон этот не ходил по улицам, а стоял в крепко огражденном вольере, но вел себя свободно: обсыпался песком, фыркал и подбирал булки, что кидали ему дети через загородку. Егор следил за каждым движением слона, потому что очень хотел все запомнить и потом показать Кольке. Так следил, что даже служитель заинтересовался:

— Что, мужик, хороша скотинка?

— Это животная, — строго поправил Егор.

— Верно. — Служитель был пожилым, и Егор разговаривал с ним свободно. — Не боишься?

— А чего? Ты же не боишься?

— Ну, помоги тогда. Потом в деревне хвастать будешь, что слона кормил.

— Я в поселке живу.

— Все равно похвастаешься.

Служитель провел Егора в зимнее помещение, где стоял еще один слон, поменьше. Он вкусно хряпал

свеклу с морковкой и дважды вежливо обнюхал Егора черным крючочком хобота.

— Умная животная! — восторгался Егор.

Потом служитель провел Егора по зоопарку, рассказал, кого из зверей как и когда кормят. Сводил и в обезьянник, но там Егору не понравилось:

— Орут.

Они вместе пообедали в столовой для сотрудников и окончательно подружились. Егор рассказал о совещании, о поселке и особо о Черном озере.

— Раньше Лебяжьим называлось, а теперь — Черное.

— Вымирает живая красота, — вздыхал служитель. — Одни зоопарки скоро останутся.

— Зоопарк — это не то.

— Не то, ясное дело.

Егор ушел из зоопарка последним, когда ГУМы и ЦУМы были уже закрыты.

Подумал маленько, припомнил рассказ Юрия Петровича, упомянутый им адрес и узнал у милиционера, как ехать.

Он не очень представлял себе цель этого посещения, но потерянное лицо Чувалова упорно не уходило из памяти.

На девятый этаж он поднялся без лифта, поскольку пользоваться им не умел. На площадке отдышался, нашел квартиру, позвонил. Дверь открыла молодая длинноволосая женщина.

— Здравствуйте, — сказал Егор, загодя сняв кепку. — Мне бы Марину.

— Я Марина.

Длинноволосая глядела недобро, и разговор приходилось начинать через порог.

— Я к вам от Чувалова. От Юрия Петровича.

Она явно решала, как поступить, и Егору показалось, что решала со страхом.

— Так, — наконец сказала она и плотно прикрыла дверь, ведущую в комнаты. — Проходите. На кухню.

Кепку повесить было некуда, и Егор прошел на кухню, держа ее в руке.

Хозяйка шла следом, наступая на пятки. Точно загоняла.

— Кто там, Мариночка? — донесся из комнат мужской голос.

— Это ко мне! — резко ответила длинноволосая, закрыв за собой и кухонную дверь. — Так в чем же дело?

Сесть она не предлагала, и это враз успокоило Егора.

Еще у порога он не знал, как и что говорить, а теперь понял.

— В комнатах-то, поди, муженек обретается?

— А вам какое дело?

— Мне дела нет, а вот ему — не знаю.

— Угрожать пришли?

— Зачем же так-то? Я к тому, что вы, стало быть, устроились, а другому устроиться не даете. Хорошо ли?

— Да как вы смеете? . .

— Смею уж, — негромко сказал Егор. — Хватит злом-то пыхать. Что он дурного-то сделал вам?

— Сделал, — усмехнулась она и закурила сигарету. — Объяснять бесполезно: если он до сих пор не понял, то вы и подавно.

— Растолкуйте, — сказал Егор и сел на маленькую красную табуретку. — За тем и пришел.

— Я вас выгоню сейчас отсюда, вот и все объяснения.

— Нет, не выгоните, — сказал Егор. — Раньше, может, и выгнали бы, а теперь побоитесь. Вы вон все двери за собой позакрывали, и, значит, семейством своим дорожите.

— Опять угрозы? Слушайте, мне надоело.

— Дали б водички, — вздохнул Егор. — В столовке селедки три порции съел — горю.

— Ух, нахалище! — Она достала из стенного шкафчика расписанную глиняную кружку, спросила через плечо: — Прикажете со льдом?

— Зачем? — удивился Егор. — Простой налей, колодезной.

— Колодезной... — Она шмякнула о стол кружкой, вода плеснула через край. — Пейте и уходите. Чувалову скажите, что ребенок не его, пусть успокоится.

Егор неторопливо выпил невкусную московскую воду, помолчал.

Женщина стояла у окна, яростно дымя сигаретой и через плечо поглядывая на него колючими глазами.

— Что вам еще от меня нужно?

— Мне-то? — Егор посмотрел: и чего хорохорится девка? — Муж ведь он вам-то.

— Муж!.. — Она презрительно передернула плечами. — Пенек он лесной, ваш Чувалов.

— Ругать — не ласкать: не скоро заморишься.

— Оскорбить женщину и даже не заметить — как это благородно!

— На оскорбить не похоже, — с сомнением сказал Егор. — Юрий Петрович — человек уважительный.

— Уважительный! — насмешливо повторила Марина. — Скажите честно, если женщина... ну, по минутной слабости, под настроение, по увлеченности, наконец перес... — она запнулась, — ну, переночует, у вас хватит соображения утром не совать ей деньги?

— Соображения у нас хватит. Денег у нас нет.

— Он тоже платил не наличными. Просто решил меня осчастливить и потащил ставить этот дурацкий штамп, не соизволив даже поинтересоваться, люблю ли я его.

— Что, силой штампы ставили-то?

— Ну зачем же... — Она вдруг улыбнулась. — Ну я дура, дура я была, легкомысленная, это вам надо? Мне сначала даже понравилось: романтика! А потом опомнилась и сбежала.

— Сбежала! — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда сбежишь?

Длинноволосая растерянно промолчала, и Егору стало жаль ее. Разговор словно поменял их местами, теперь главным в этой кухне был он, и оба это понимали.

— Я паспорт потеряла, — виновато сказала она. — Может, и он так, а?

— Сама завралась и его врать учишь? С новым-то как живешь?

— Хорошо.

— Я не про то. Я про закон...

— Расписались.

— Ах ты господи!..

Егор вскочил, заметался по кухне. Марина внимательно следила за ним, и во внимании этом была почти детская доверчивость.

— Хорошо, говоришь, живете?

— Хорошо.

— Зови его сюда.

— Что? — Она вдруг выпрямилась, вновь став холодно-надменной. — Вон отсюда! Немедленно, пока я милицию...

— Ну, зови милицию, — согласился Егор и опять уселся.

Марина отвернулась к окну, беспомощно повела опущенными плечами. Она плакала тихо, боясь мужа и стесняясь постороннего человека.

Егор посидел, повздыхал, а потом тронул ее за плечо.

— Узнают — хуже будет: закон ведь нарушен.

— Уходите! — почти беззвучно закричала она. — Зачем вы пришли, зачем? Ненавижу шантаж!

— Что ненавидишь?

Она промолчала. Егор потоптался, помял кепку и пошел к дверям.

— Стойте!

Егор не остановился. Нарочно хлопнул кухонной дверью, услышал, как зло и беспомощно зарыдали у окна, и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату.

У стола над чертежной доской страдал молодой парень. Он поднял на Егора спокойные глаза, моргнул, улыбнулся. Сказал неожиданно:

— Черчу как проклятый. Диплом в сентябре защищать.

В противоположном углу в кроватке спал ребенок. А парень с удовольствием потянулся и пояснил:

— Я на вечернем. Трудно!

То ли действительно тишина в комнате стояла, то ли оглох Егор враз на оба уха, а только услышал он

жаркий перезвон стрекоз. Услышал, и снова сжала сердце тягостная жалость, снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок. И услышал еще Егор, как на кухне громко плакала Марина.

— Ну, давай, давай трудись, — сказал он парню и тихонько вышел из комнаты.

Егор поздно вернулся в гостиницу. Съел булку, что Харитина в чемодан сунула, попил водички и улегся. Кровать была непривычно мягкой, но он все никак не мог заснуть, все почему-то ворочался и вздыхал.

Утром он встал позже, чем рассчитывал. Умывшись, спустился в буфет, а там оказалась очередь, и он все боялся, что опоздает.

Кое-как, наспех проглотил завтрак и побежал в министерство, так и не заглянув в забытые на столе тезисы.

А вспомнил он об этих тезисах, когда услышал вдруг собственную фамилию:

— ...такие, как, например, товарищ Полушкин. Своим самозабвенным трудом товарищ Полушкин еще раз доказал, что нет труда нетворческого, а есть лишь нетворческое отношение к труду. Я не стану вам рассказывать, товарищи, как понимает свой долг товарищ Полушкин: он сам расскажет об этом. Я хочу только сказать...

Но Егор уже не слушал, что́ хотел сказать министр. Его враз кинуло в жар: бумажки-то остались на столе, и,что в них было сказано, Егор и знать не знал и ведать не ведал. Он кое-как дослушал доклад, по-

хлопал вместе со всеми и, когда объявили перерыв, торопливо стал пробираться к выходу, надеясь сбегать в гостиницу. И уж почти добрался до дверей, но тут гулко покашляли в микрофон, и чей-то голос сказал:

— Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу президиума. Повторяю...

— Это меня, что ль, просят? — спросил Егор у соседа, что вместе с ним толкался в дверях.

— Ну, если вы тот Полушкин...

— Ага! — сказал Егор и полез встречь людского потока.

За столом президиума уже не было министра, а сидел председатель да вокруг вертелись какие-то мужики. Когда Егор спросил, чего, мол, звали, они сразу зашебаршились, резво схватившись за аппараты.

— Несколько снимков. Повернитесь, пожалуйста.

Егор вертелся, как велено, с тоской думая, что время уходит понапрасну. Потом долго отвечал на вопросы, кто, да откуда, да что удумал такое особенное. Поскольку он считал, что ничего еще не удумал, то и отвечал длиннее, чем требовали, и беседа затянулась: уж звонки прозвенели. Егора отпустили, но выйти он уже не смог, а сел на место, решив, что сбегать придется на втором перерыве.

Первый выступавший говорил складно, и Егору понравился. Он хлопал дольше всех и опять чуть не упустил свою фамилию.

— Подготовиться товарищу Полушкину.

— Чего сказали-то?

— Подготовиться.

— Как это?

— Тише, товарищи! — недовольно зашумели сзади.

Егор примолк, лихорадочно соображая, как готовиться. Он мучительно припоминал нужные слова, взмок и пропустил половину выступления. Однако вторую половину расслышал, и эта половина вызвала в нем такое несогласие, что он маленько даже успокоился.

— Нужны дополнительные законы, — говорил оратор, суровея от собственных слов. — Ужесточить требования. Карать...

Кого карать-то? Егор с неохотой — из вежливости — похлопал.

А тут выкликнули:

— Слово предоставляется товарищу Полушкину!

— Мне? — Егор встал. — Мне бы потом, а? Я... это... бумажки забыл.

— Какие бумажки?

— Ну, речь. Мне речь написали, а я ее на столе позабыл. Вы погодите, я сбегаю.

Зал весело зашумел:

— Давай без бумажек!

— А кто написал-то?

— Смелей, Полушкин!

— Проходите к трибуне,—сказал председатель.

— Зачем проходить-то? — Егор все же вылез из ряда и пошел по проходу. — Я же говорю: сбегаю. Они... это... на столе.

— Кто — они?

— Да бумажки. Написали мне, а я забыл.

Хохотали, слова заглушая. Но Егору было не до смеха. Он стоял перед сценой, виновато склонив голову, и вздыхал.

— А без чужих бумажек вы говорить не можете? — спросил министр.

— Ну, дык, поди, не то скажу.

— То самое. Проходите на трибуну. Смелее, товарищ Полушкин!

Егор нехотя поднялся на трибуну, поглядел на стакан, в котором пузыри бежали. Зал сразу стих, все смотрели на него, улыбались и ждали, что скажет.

— Люди добрые! — громко сказал Егор, и зал опять покатился со смеху. — Погодите ржать-то: я не «караул» кричу. Я вам говорю, что люди — добрые!

Замолчали все, а потом вдруг зааплодировали. Егор улыбнулся:

— Погодите, не все еще сказал. Тут товарищ говорил, так я с ним не согласен. Он законов просил, а законов у нас хватает.

— Правильно! — сказал министр. — Только уметь надо ими пользоваться.

— Нужда научит, — сказал Егор. — Но я к тому, чтоб нужды такой не было. Этак-то просто: поставил солдат с ружьями — и гуляй себе. Только солдат не наберешься.

И опять зааплодировали. Кто-то крикнул:

— Вот дает товарищ!

— Вы мне не мешайте, я и сам собьюсь. Мы с вами при добром деле состоим, а доброе дело радости просит, а не угрюмства. Злоба злобу плодит, это мы часто вспоминаем, а вот что от добра добро родится, это не очень. А ведь это и есть главное!

Егор ни разу не выступал и поэтому не особо боялся. Велели говорить, он и говорил. И говорилось ему, как пелось.

— Вот сказали: делись, мол, опытом. А зачем им

делиться? Чтоб обратно у всех одинаковое было, да? Да какой же в этом нам прок? Это у баранов и то шерсть разная, а уж у людей — сам бог велел. Нет, не за одинаковое нам драться надо, а за разное, вот тогда и выйдет радостно всем.

Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом: слово боялись проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием:

— Но радости покуда наблюдается мало. Вот я при Черном озере состою, а раньше оно Лебяжьим называлось. А сколько таких Черных озер по всей стране нашей замечательной — это ж подумать страшно! Так вот, надо бы так сотворить, чтобы они обратно звонкими стали: Лебяжьими или Гусиными, Журавлиными или еще как, а только чтоб не Черными, мил дружки вы мои хорошие. Не Черными — вот какая наша забота!

Снова зааплодировали, зашумели. Егор покосился на стакан, что поставили ему, и, поскольку вода в том стакане перестала пузыриться, хлебнул. И сморщился: соленая была вода.

— Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое положение? А путают. С одной стороны, вроде учат: природа — дом родной. А что с другой стороны имеем? А имеем покорение природы. А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку.

Все захлопали. Егор махнул рукой, пошел с трибуны, но вернулся:

— Стойте, поручение забыл. Если кто тем летом

насчет туризма хочет, так к нам давайте. У нас и гриб, и ягода, и Яков Прокопыч с лодочной станцией. Распишем лодочки: ты — на гусенке, а я — на поросенке: ну-ка, догоняй!

И под общий смех и аплодисменты пошел на свое место.

Два дня шло совещание, и два дня Егора поминали с трибуны. Кто в споре: какое, мол, тебе добро, когда леса стонут? Кто в согласии: хватит, мол, покорять, пора оглянуться. А министр напоследок особо остановился насчет того, чтоб обратно превратить Черные озера в живые и звонкие, и назвал это почином товарища Полушкина. А потом Егора наградили Почетной грамотой, похвалили, уплатили командировочные и выдали билет до дома.

С этим билетом Егор и пришел в гостиницу. Ехать надо было завтра, а сегодняшний день следовало провести в бегах по ГУМам и ЦУМам. Егор посмотрел список вещей, что просили купить, пересчитал деньги, полюбовался грамотой и поехал в зоопарк.

Там долго ничего понять не могли. Пришлось до главного дойти, да и тот удивился:

— Каких лебедей? Мы не торгующая организация.

— Я бы и сам словил, да где? Говорю же, Черное у нас озеро. А было Лебяжье. Министр говорит: почин, мол, полушкинский, мой, значит. А раз почин мой, так мне и начинать.

— Так я же вам объясняю...

— И я вам объясняю: где взять-то? А у вас их полон пруд. Хоть в долг дайте, хоть за деньги.

Егор говорил и сам удивлялся: сроду он так с начальниками не разговаривал. А тут и слова нашлись и смелость — свободу он в душе своей чувствовал.

Весь день спорили: К какому-то начальству ездили, какие-то бумажки писали. Столковались наконец, и выделили Егору две пары шипунов; избили и исщипали они Егора до крови, пока он их в клетку запихивал. Потом на вокзал кинулся, а там тоже морока. И там упрашивал, и там бумажки писали, и там уговорил. В багажном вагоне при сопровождающем.

Полтора дня метался и хлопотал, а про ГУМ с ЦУМом только у поезда и вспомнил. Да и то зря: денег на ГУМы не осталось, все в лебедей пошло. Купил Егор прямо на вокзале что под руку попалось, залез в багажный вагон, пожевал булки с колбасой, а тут и поехали. И лебеди закликали в клетках, зашумели. А Егор лег на ящик, укрылся пиджаком и заснул.

И приснились ему слоны...

21

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Егор стоял перед Харитиной, виновато склонив голову. В больших ящиках по-змеиному шипели лебеди.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!

— Крылья им подрезать велели, — вдруг встрепенулся Егор. — Чтоб на юг не утекли.

Заплакала Харитина. От стыда, от обиды, от бессилия. Егор за ножницами побежал — крылья резать. А Федор Ипатович в доме своем со смеху покатывался:

— Ну бедоносец чертов! Ну бестолочь! Ну экземпляр!

Все над Егором потешались: надо же, заместо ГУМов с ЦУМами лебедей приволок! В долги влез, людей обманул, жену обидел. Одно слово — бедоносец. Только Яков Прокопыч не смеялся. Серьезно одобрил:

— Привлекательность для туризма.

А Кольке было не до смеху. Пока тятька его в Москве слонами любовался, дяденьку Федора Ипатовича уж трижды к следователю вызывали. Федор Ипатович по этому случаю Кодекс купил, наизусть выучил и так сказал:

— Видать, дом отберут, Марья. К тому клонится.

Марьица в голос взвыла, а Вовка затрясся и щенка побежал топить. Еле-еле Колька умолил его, да и то временно:

— Коли выселят — назло утоплю!

Сказал — как отрезал. И сомнения не осталось: утопит. А тут еще Оля Кузина заважничала чего-то, дружить с ними перестала. Все с девчонками вертелась, какие постарше, и на Кольку напраслину наговаривала. Будто он за нею бегает.

А Егор на другой день к озеру подался. Домики лебедям построил, а тогда и лебедей выпустил. Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в добром соседстве.

Устроив птиц, Егор надолго оставил их: ходил по массиву, клеймил сухостой для школы. А директору напилил лично не только потому, что уважал ученых людей, но и для разговора.

Разговор состоялся вечером у самовара. Жену — докторшу, что столько раз Кольку йодом мазала, — к роженице вызвали, и директор хлопотал сам.

— Покрепче, Егор Савельич?

— Покрепче. — Егор взял стакан, долго размешивал сахар, думал. — Что же нам с Нонной-то Юрьевной делать, товарищ директор?

— Да, жалко. Хороший педагог.

— Вам — педагог, мне — человек, а Юрию Петровичу — зазноба.

То, что Нонна Юрьевна для Чувалова зазноба, для директора было новостью. Но виду он не подал, только что бровями шевельнул.

— Официально разве вернуть?

— Официально — значит, через «не хочу». Нам годится, а Юрию Петровичу — вразрез.

— Вразрез, — согласился директор и пригорюнился.

— Видно, ехать придется, — сказал Егор, не дождавшись от него совета. — Вот зазимует, и поеду. А вы письмо напишите. Два.

— Почему два?

— Одно — сейчас, другое — погодя. Пусть свыкнется. Свыкнется, а тут я прибуду, и решать ей придется.

Директор подумал и принялся за письмо. А Егор неторопливо курил, наслаждаясь уютом, покоем и директорским согласием. И оглядывался: сервант под орех, самодельные полки, книги навалом. А над книгами — картина.

Егор даже встал, углядел ее. Красным полыхала картина та. Красный конь топтал иссиня-черную тварь, а на коне том сидел паренек и тыкал в тварь палкой.

Вся картина горела яростью, и конь был необыкновенно гордым и за эту необыкновенность имел право быть неистово красным. Егор и сам бы расписал его красным, если случилось ему такого коня расписывать, потому что это был не просто конь, а сивка-бурка — это был конь самой Победы. И он пошел к этому коню как завороженный — даже на стул наткнулся.

— Нравится?

— Какой конь! — тихо сказал Егор. — Это ж... Пламя это. И парнишка на пламени том.

— Подарок, — сказал директор, подойдя. — И символ прекрасный: борьба добра со злом, очень современно. Это Георгий Победоносец. — Тут директор испуганно покосился на Егора, но Егор по-прежнему строго и уважительно глядел на картину. — Вечная тема. Свет и тьма, добро и зло, лед и пламень.

— Тезка, — вдруг сказал Егор. — А меня в поселке бедоносцем зовут. Слыхали, поди?

— Да. — Директор смутился. — Знаете, в наших краях прозвище...

— Я-то чего думал? Я думал, что меня потому бедоносцем зовут, что я беду приношу. А не потому зовут-то, оказывается. Оказывается, не под масть я тезке своему, вот что оказывается.

И сказал он это с горечью, и всю дорогу конь этот перед глазами маячил. Конь и всадник на том коне.

— Не под масть я тебе, Егор Победоносец. Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

А лебеди были белыми-белыми. И странная горечь, которую испытал он, открыв для себя собственное несоответствие, рядом с ними вскоре растаяла без следа.

— Красота! — сказал Юрий Петрович, навестив Егора.

Птицы плавали у берега. Егор мог часами смотреть на них, испытывая незнакомое доселе наслаждение.

Он уже побегал по лесу, выискал пару коряг, и еще два лебедя гнули шеи возле его шалаша.

— Тоскуют, — вздохнул Егор. — Как свои пролетают — кричат. Аж сердце лопается.

— Ничего, перезимуют.

— Я им сараюшку уделаю, где кабанчик жил. Ледок займется — переведу.

Юрий Петрович ничего на это не ответил. Нонна Юрьевна возвращаться отказалась, как он ни упрашивал ее там, в Ленинграде, и Чувалов разучился улыбаться.

— Ну, Юрий Петрович, пишите заявление, чтоб озеро обратно Лебяжьим звали.

— Напишу, — вздохнул Чувалов.

Юрий Петрович, невесело приехав, невесело и уехал. А Егор остался: невдалеке от его участка дорогу прокладывали, и он беспокоился насчет порубок. Но на заповедный лес никто не покушался: Филя с Черепком на строительство дороги подались. Черепок матерые сосны с особым наслаждением рвал: любил взрывчаткой баловаться. С войны еще, с партизанщины.

Потом, однако, заглохли и дальние взрывы и рев машин: дорога в поля ушла, и рвать стало нечего. Но Егору не хотелось уходить из обжитого шалаша, по обе стороны которого гордо гнули шеи деревянные лебеди.

Осень у крыльца уж бубенцами звенела. Она темной выдалась, дождливой и выжила-таки Егора с озе-

ра. Он перебрался в дом. Сперва наведывался к лебедям ежедневно, потом стал ходить пореже. Да и сараюшку уделать требовалось: по утрам уж ледок похрустывал.

А та ночь на диво разбойной была. Тучи чуть за ели не цеплялись, косило из них дождем без передыху, а ветер гулял — аж сосны стонали. Накануне Егор прихворнул маленько, баньку парную принял, чайку с малиной — спать бы ему да спать, а он тревожился: как лебеди там? Надо бы перевезти — уж и сараюшка почти готова, — да расхворался некстати. Ворочался, жег Харитину то спиной, то боком, а к полуночи оделся и вышел покурить.

Чуть вроде затишело: и лес шумел поласковее, и дождик не сек — моросил только. Егор скрутил цигарку, пристроился на крылечке, прикурил — ударило вдруг за дальним лесом. Тяжко ударило, и он сперва подумал, что́ это ударило, что́ за гул принесло мокрым ветром, вскочил и побежал кобылу седлать.

Ворота скрипучими были, и на скрип тот Харитина выглянула, в одной рубашке, грудь прикрывая.

— Ты что это удумал, Егор! Жар ведь у тебя.

— На озеро съезжу, Тинушка, — сказал Егор, выводя со двора сонную кобылу. — Неспокойно мне что-то. Да и Колька давеча про туриста говорил.

А Колька вчера дяденьку сивого у магазина встретил. Того, что муравейник поджигал.

— А, малец!

— Здравствуйте, — сказал Колька и убежал.

Водку сивый тот нес. Целую авоську: в дырки горлышки торчали. Колька об этом отцу и рассказал.

Не удержала его тогда Харитина, и гнал Егор казенную кобылку сквозь осеннюю темь. Знала бы, по-

перек дороги бы легла, а не зная, ругнула только:

— Да куда же понесло-то тебя, бедоносец божий?

Такими были ее последние слова. Неласковыми. Как жизнь.

Второй раз ударило, когда Егор полпути миновал. Гулко и далеко разнесло взрыв по сырому воздуху, и Егор понял, что рвут на Черном озере. И подумал о лебедях, что подплывали на людские голоса, доверчиво подставляя крутые шеи.

Гнал Егор старую кобылу, бил каблуками по ребрам, но бежала она плохо, и он в нетерпении соскочил с нее и побежал вперед. А кобыла бежала следом и жарко дышала в спину. Потом отстала: сил у нее Егоровых не было, даром что лошадь.

Издалека он костер углядел, сквозь мокрые еловые липы. У костра фигуры виднелись, а с берега и голос донесся:

— Под кустом смотри: вроде щука.

— Темно-о!..

Егор бежал напрямик, ломая валежник. Ветки хлестали по лицу, сердце в горле билось, и трясло его.

— Стой! — закричал он еще в кустах, в темноте еще.

Вроде замерли у костра. Егор хотел снова крикнуть, да дыхания не хватило, и выбежал он к костру молча. Стал, хватая ртом воздух, в миг какой-то успел увидеть, что над огнем вода в кастрюльке кипит, а из воды две лебединые лапы выглядывают. И еще троих лебедей увидел — подле. Белых, еще не ощипанных, но уже без голов. А в пламени пятый его лебедь сгорал: деревянный. Черный теперь, как озеро.

— Стой... — шепотом сказал он. — Документ давайте.

Двое у костра стояли, но лиц он не видел. Один сразу шагнул в темноту, сказав:

— Лесник.

Шумел ветер, булькала вода в кастрюле да трещал, догорая, деревянный лебедь. И все покуда молчали.

— Документы, — пересохшим горлом повторил Егор. — Задерживаю всех. Со мной пойдете.

— Вали отсюда, — негромко и лениво сказал тот, что остался у костра. — Вали, пока добрые. Ты нас не видел, мы тебя не знаем.

— Я в доме своем, — задыхаясь, сказал Егор. — А вы кто есть, мне неизвестно.

— Вали, говорю.

С озера опять донесся веселый плеск и голос:

— Хорош навар! Пуда полтора...

— Рыбу глушите, — вздохнул Егор. — Лебедей поубивали. Эх, люди!..

В темноте возник силуэт.

— Продрог, растудыт твою! Сейчас водочки бы хватануть, хозяин...

Замолчал, увидев Егора, и в тень отступил. И еще кто-то у берега стучал веслами. И четвертый где-то прятался, не появляясь больше в освещенном круге.

— Чего ему тут надо? — спросил тот, что в тень отступил.

— По шее.

— Это мы можем.

— Документы, — упрямо повторил Егор. — Все равно не уйду. До самой станции идти за вами буду, пока милиции не сдам.

— Не стращай, — сказали в темноте. — Не ясный день.

— Он не стращает, — сказал первый. — Он цену набивает. Точно, мужик? Ну как, сойдемся? Поллитра у костра да четвертной в зубы — и гуляй, Вася.

— Документы, — устало вздохнул Егор. — Задерживаю всех.

Он весь горел сейчас, в голове шумело, и противно слабели колени. Очень хотелось сесть, погреться у огня, но он знал, что не сядет и не уйдет отсюда, пока не получит документов.

Еще один, насвистывая, шел от берега. Двое о чем-то шептались, а четвертого не было: прятался.

— Полсотни, — сказал первый. — И заворачивай гужи.

— Документы. Задерживаю всех. За нарушения.

— Ну, гляди, — угрожающе сказал первый. — Не хочешь миром — ходи в соплях.

Он наклонился к кастрюле, потыкал ножом в лебедя. Второй пошел к озеру, навстречу тому, что насвистывал.

— Зачем же лебедей-то? — вздохнул Егор. — Зачем? Они ведь украшение жизни.

— Да ты поэт, мужик!

— Собирайтесь. Время позднее, идти не близко.

— Дурак! Дай ему по мозгам.

Хакнули за спиной, и тяжелая жердь, скользнув по уху, с хрустом обрушилась на плечо. Егор качнулся, упал на колени.

— Не сметь! Нельзя меня бить: я законом поставлен! Документы требую! Документы...

— Ах, документы тебе?..

Еще и еще раз обрушилась жердь, а потом Егор перестал уж и считать-то удары, а только ползал на

дрожащих, подламывающихся руках. Ползал, после каждого удара утыкаясь лицом в мокрый, холодный мох, и кричал:

— Не сметь! Не сметь! Документы давай!

— Документы ему!..

И уже не одна, а две жердины гуляли по Егоровой спине, и чей-то тяжелый сапог упорно бил в лицо. И кто-то кричал:

— Собаку на него! Собаку!

— Куси его! Куси! Цапай!

Но собака не брала Егора, а только выла, страшась крови и людской злобы. И Егор уже не кричал, а хрипел, выплевывая кровь, а его всё били и били, озлобляясь от ударов. Егор уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал.

— Брось, Леня, убьем еще.

— У, гад!..

— Оставь, говорю! Сматываться пора. Забирай рыбу, хозяин, да деньгу гони, как сговорено.

Кто-то с оттяжкой, изо всей силы ударил сапогом в висок, голова Егора дернулась, закачалась на мокром от дождя и крови мху — и бросили. Пошли к костру, возбужденно переговариваясь. А Егор поднялся, страшный, окровавленный и, шлепая разбитыми губами, прохрипел:

— Я законом... Документы...

Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, и он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом. Редко вздрагивал.

Нашли его на другой день уже к вечеру на полпути к дому. Полдороги он все же прополз, и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера. От кострища, разоренного шалаша, птичьих перьев

и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, нерусским.

На второй день Егор пришел в себя. Лежал в отдельной палате, еле слышно отвечал на вопросы. А следователь все время переспрашивал, потому что не разбирал слов: и зубов у Егора не было, и сил, и разбитые губы шевелиться не желали.

— Неужели ничего не можете припомнить, товарищ Полушкин? Может быть, мелочь какую, деталь? Мы найдем, мы общественность поднимем, мы...

Егор молчал, серьезно и строго глядя в молодое, пышущее здоровьем и старательностью лицо следователя.

— Может быть, встречались с ними до этого? Припомните, пожалуйста. Может быть, знали даже?

— Не знал бы — казнил, — вдруг тихо и внятно сказал Егор. — А знаю — и милую.

— Что? — Следователь весь вперед подался, напрягся весь. — Товарищ Полушкин, вы узнали их? Узнали? Кто они? Кто?

Егору хотелось, чтобы следователь поскорее ушел. После уколов боль отпустила, и ласковые, неторопливые думы уже проплывали в голове, и Егору было приятно встречать их, разглядывать и вновь провожать куда-то. Он вспомнил себя молодым, еще в колхозе, и увидел себя молодым: председатель за что-то хвалил его и улыбался, и молодой Егор улыбался в ответ. Вспомнил переезд свой сюда и петуха вспомнил и тотчас же увидел его. Вспомнил веселых гусенков-поросенков, гнев Якова Прокопыча, туристов, утопленный мотор, а зла в душе ни к кому не было, и он улыбался всем, кого видел сейчас, даже двум пройдохам у рынка. И, улыбаясь так, он как-то очень

просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирать ему будет легко. Совсем легко — как уснуть.

Но додумать этого ему не дали, потому что нянечка голову из коридора в комнату сунула и сказала, что очень уж к нему просятся, что, может, позволит он: уж больно человек убивается. Егор моргнул в ответ: она из щели исчезла, а дверь отворилась, и вошел Федор Ипатович.

Он вошел неуклюже, бочком, будто нес что-то и боялся расплескать. Потоптался у порога, то поднимая, то вновь пряча глаза, позвал:

— Егор, Егорушка.

— Садись. — Егор с трудом разлепил губы.

Федор Ипатович присел на краешек, покачал головой горестно. Будто и донес ношу, а сбросить ее не мог и страдал от этого. И Егор знал, что он страдает, и знал, почему.

— Живой ты, Егор?

— Живой.

Федор Ипатович вновь завздыхал, заскрипел табуреткой, а потом вытащил из-под полы халата пузатую бутылку.

Долго откручивал пробку корявыми, непослушными пальцами, и пальцы эти дрожали.

— Ты не страшись, Федор Ипатыч.

— Что? — вздрогнул Бурьянов, глаза расширя.

— Не страшись, говорю. Жить не страшись.

Гулко сглотнул Федор Ипатович. На всю палату. Взял с тумбочки стакан, налил из бутылки что-то желтое, пахучее.

— Выпей, Егорушка, а? Сглотни.

— Не надо.

— Хоть глоточек, Егор Савельич. Двадцать пять рубликов бутылочка, не для нас сварено.

— Не для нас, Федор.

— Ну выпей, Савельич, выпей. Облегчи ты мне душу-то, облегчи!

— Нету во мне зла, Федор. Покой есть. Ступай домой.

— Да как же, Савельич...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак.

Федор Ипатович всхлипнул, тихо поставил стакан и встал.

— Только прости ты меня, Егор.

— Простил. Ступай.

Федор Ипатович покачал большой головой, постоял еще маленько, шагнул к дверям.

— Пальму не стрели, — вдруг сказал Егор. — Что не взяла она меня, в том вины ее нет. Меня собаки не берут, слово я собачье знал.

Федор Ипатович тяжело и медленно шел коридором больницы. В правой руке он нес початую бутылку, и дорогой французский коньяк выплескивался на пол при каждом его шаге. По небритому, черному лицу его текли слезы. Одна за другой, одна за другой.

А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним, и Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрый от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгивает зло.

Вот. А Колька Полушкин все-таки отдал спиннинг за шелудивого щенка с надорванным ухом. Видно, ему тоже снился красный отцовский конь.

От автора

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. Она зовет меня негромко и застенчиво, и я сажусь в поезд и через три пересадки еду в далекий поселок.

Мы гуляем с Колькой и Цуциком по улицам, заходим на лодочную станцию, и Яков Прокопыч дает нам лучшую лодку. А вечером пьем с Харитиной чай, глядим на Почетную грамоту и вспоминаем Егора.

Яков Прокопыч стал говорить еще ученее, чем прежде. Черепок попал под Указ, а Филя по-прежнему немного шабашит и много пьет. Каждую весну на второй день пасхи он идет на кладбище и заново красит жестяной Егоров обелиск.

— Погоди, Егор, Черепок вернется, мы тебе памятник отгрохаем. Полмесяца шабашить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем.

Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали: там теперь общежитие. Петуха уже нет, а Пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил.

К Черному озеру Колька ходить не любит. Там другой лесник, а Егоровы зайцы да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще. И понятнее...

На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, вытесанная когда-то Егором топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот.

А Черное озеро так и осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки...

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Борис Львович Васильев

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ

ИБ № 4066

Ответственный редактор
Г. В. Быстрова

Художественный редактор
Н. З. Левинская

Технический редактор
С. Г. Маркович

Корректоры
А. Н. Гриберман
и Э. Н. Сизова.

Сдано в набор 27.05.80. Подписано к печати 26.11.80. Формат $70\times108^{1}/_{32}$. Бум. офс. № 1. Шрифт академический. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 9,83. Тираж 50 000 экз. Заказ № 50. Цена 1 руб. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 2-я Советская, 7.

1 р.

Издательство «Детская литература»